Раиса Коршунова

ЗАЦВЕТУТ ЕЩЁ САДЫ, ЗАЦВЕТУТ!

Повесть

(главы 16-20, окончание)

Озёрск, 2023

Глава 16
Осот в палисаднике

Трудно привыкать к стремительному ритму нашей теперешней жизни. Мы иногда по целым суткам безостановочно мчимся по украинской земле. Змейкой вьется пыльная фронтовая дорога, кланяются нам в пояс пыльные травы да приветливо машут листьями кряжистые ветлы, что столетиями стоят вдоль шляхов, а стройные тополя, кажется, вот сорвутся со своих мест и помчатся вслед за нами. Они, тополя эти, стоят словно великаны, и видно их далеко-далеко.

Мы подкатываем к целехоньким деревням на запыленных грузовиках, и только успевает шофер затормозить, как бегут нам навстречу деревенские жители. Вместе с бойцами комендантского взвода разводят они нас по хатам на квартиры. За какие-нибудь полчаса мы успешно «осваиваем» свои помещения и быстро «ориентируемся на местности» – определяем, где разместилось начальство, и где столовая. По старинной солдатской привычке высоко оцениваем «место дислокации» – если начальство далеко, а столовая – близко. Ибо какой же солдат не мечтает быть от начальства подальше, а к кухне поближе? Дожили, Лиляна Орлович! Скоро ты без всякой иронии вот так будешь рассуждать. Как можешь ты мириться с таким положением? Девчата, наверное, в медсанбате работают вовсю, а ты путешествуешь со штабом, ставишь рекорды скоростных пробегов. Нет, так больше продолжаться не может. Не могу я без работы, не могу! Без медсанбата не могу! Напечатать на машинке одну-другую сводку – разве это работа? И зачем только я здесь понадобилась, кому? Один раз была во мне настоящая нужда, да и то я опростоволосилась – воды во фляжке не оказалось, заблудилась. И почему только меня не наказали?

... Я сижу в маленьком палисаднике и горько рассуждаю о своем теперешнем положении. Нахожу его неопределенным. Неинтересная

работа, выполнять ее может всякий. Путешествуй вместе со штабом да сиди вот, как теперь, любуйся цветочками, а девчата, наверное, работают, засучив рукава. Сиди и размышляй, философствуй, почему этот палисадник, в который ты забралась, уцелел? А, впрочем, чему удивляться? Противник так драпает, что не успевает даже хлопнуть как следует дверью. Потому мы и въезжаем теперь в несожженные деревни, где сохранились и хаты, и садочки, и палисадники. Потому и этот уцелел – цветы на клумбах свежие и яркие. Только в одном месте изломаны да истоптаны они – кто-то пробежал прямо по цветам. Глубоко вдавили землю каблуки с крупными в два ряда гвоздями и с подковкой. Цветок, что попал под тяжелый тот сапог, уже немного привял. А так – совсем целый палисадник, только вот разве осот у штакетника притаился. Плохо это, если осот рядом с цветами.

Прыгают мысли. Я пытаюсь восстановить в памяти то, что видела вчера. Никак не могу сосредоточиться. Окно нашей хатки раскрыто настежь, и я слышу голоса – начальник штаба майор Соломин (майор Подковка) «подначивает» своего собеседника. Незнакомый офицер (плохо я еще знаю по голосам наших штабников) по-украински певуче «просвещает» майора Соломина.

– Украина – це ж держава целая. А прошлое какое у нее? Хиба ж вам неизвестно? Это же – страна ученых и поэтов!

– И только? – подзадоривает майор Подковка. – Неплохая характеристика, капитан Васильченко.

Васильченко я знаю. Это наш ПНШ-1, начальник оперативного отдела, секретарь партийной организации.

– Что вы смыслите? – горячится Васильченко. – Украина – то ж надо дотумкать – это страна хлеба и руды, угля и фруктов.

– Начинаю дотумкивать, – смеется Подковка, – уже становится понятнее.

– Ну чего вы смеетесь? Украина… Это же страна огневых плясок! А песни какие! Слыхали вы, как спевають на Украине? Слыхали ли вы таких сердечных душевных песен?

– Не чув, – переходя на украинский, серьезным голосом отвечает Подковка.

А ведь он прав, капитан Васильченко, – страна эта особенная. Здесь все такое яркое и сочное. Мягкий климат, мягкие травы. Ласковое и приветливое все вокруг – и люди, и сады, и цветы… Все, как этот палисадник, в котором я сижу. Только… только у самого штакетника осот пробивается.

Откуда он, этот сорняк? Следы на клумбе, следы со стальной подковкой на широком каблуке, откуда они? Вот так и в жизни…

Это было вчера. Мы с разгону въехали в небольшую деревеньку. У самой околицы встретила нас женщина – маленькая и юркая, чернявая, с острым носиком на высохшем лице.

– Ох, как ждали мы вас, как ждали, дождаться не могли, дорогие вы наши освободители, – сыпала скороговорочкой та женщина, размахивая руками, всплескивая ладошками. Она бросалась то к одному офицеру, то к другому и насильно, за рукав, тащила в свою хату, приговаривая:

– Заходьте-заходьте, люди добрые, не побрезгуйте угощением!

Но почему-то никому не хотелось к ней заходить. И как назло, майору Подковке и Вале досталась ее хата. Валя потащила меня за собой. Как только мы вошли, нам сразу бросилось в глаза некоторое своеобразие в убранстве комнаты: два больших портрета – Сталина и Шевченко. А в углу – целый иконостас. Поблескивают ризами накладного золота и серебра иконы, строго и осуждающе смотрят лики святых. Мы с Валей переглянулись. Портреты и иконы. Для чего? Для кого? Но хозяйка, перехватив наши взгляды, затараторила:

– С этими я размовляю, разговариваю то есть, – и она ладошкой показала на портреты, – а этим молюсь. – И хозяйка склонилась в поклоне перед главной иконой – с лампадкой которая.

Показывая на портреты и кланяясь иконам, она косила глазами на нас, испытующе разглядывала то Валю, то меня.

– А если не нравится, – со смирением произносила она, – то и

убрать можно. – И хозяйка семенила к красному углу и уже протягивала руки к самой большой иконе.

– Нет, зачем же, – отмахнулась Валя, – пусть висят.

– Благодарствуйте, милые дамочки. Может, что надо вам, так не стесняйтесь, приказывайте.

– Не привыкли мы приказывать, – хмурилась я.

…А когда мы с Валей возвращались из столовой, одна незнакомая местная женщина остановила нас и спросила, как нам понравилась хозяйка. Валя замялась, а я ответила:

– Очень уж идейная.

– Как вы сказали? – не поняла женщина.

– Идейная, в политике хорошо разбирается. И мы рассказали об иконах и портретах.

– Ну, иконами-то она и прежде славилась. Только при немцах висели у нее небогатые иконки, попроще которые, а дорогие припрятала она. Освободители-то освободителями (это она немцев так называла – освободители от большевиков), а иконки-то и в золоте, и в серебре. Денег стоят. А портреты… – женщина совсем вышла из себя. – Ах, бесстыжие ее глаза! Ах, проныра, ах, гадюка ползучая! И когда только успела раздобыть портрет Сталина, и когда только успела повесить тот портрет на стенку? У нее же рядом с портретом письменника Тараса Шевченко портрет Гитлера красовался. Богатый такой портрет, в раме блескучей, красками намалеван.

Мы слушали, не перебивая и ни о чем больше не спрашивая. А женщина все говорила и говорила, и после каждой почти что фразы приговаривала:

– Ах, она гадюка подколодная! И как только земля ее носит!

Женщина рассказала нам, как наша хозяйка выдала фашистам девушку-партизанку.

Это было в первые дни оккупации. Маленькое их село запряталось далеко от тракта – это теперь война проложила здесь широкую дорогу. Жители сельца этого думали, что минует их враг,

не придет он в их село. Теплилась в душе каждого робкая надежда, что гроза, если и заденет, то стороной, слегка. Но они ошиблись. И к ним пришли двуногие в грязно-зеленых шинелях. Но борьба не прекращалась. Как-то утром вооруженные враги привели в село четырех десантников. Наши! Советские! Говорили, что прыгали с парашютами пятеро. А пятого… Пятой была девушка. И имя ее запомнили – Соня Кравченко, харьковская студентка. В плен попала она совсем нелепо. Её парашют отнесло в сторону, в лес. Соня успела сбросить его, вместе с парашютом закопала рацию, а потом пошла в деревню. Она думала, что в селе ждут ее друзья-десантники, и нет там немцев. Потому и шла спокойно. Она не заметила часового у крайней избы. Немецкого часового. А он видел ее и дал возможность подойти поближе. Соня, Сонечка. Тебе бы идти спокойно, а ты метнулась снова к лесу. И кто знает, может быть, и удалось бы тебе укрыться там, если бы на беду твою не попалась тебе навстречу маленькая чернявая жинка. И куда ее носило только в такую рань? Черная гадюка тоже слышала окрик часового. Мигом оценила обстановку. Подбежала, проклятая, к Соне и уцепилась за нее:

– Не спеши, дивчинонько, так шибко… – и потащила к часовому. Отыскала пистолет, который пыталась незаметно выбросить Соня. И все. Соню расстреляли вместе с ее товарищами. У сельмага погибли они.

– Так что следите за хозяйкой своей. Утечь она может.

Мы пообещали сказать кому следует, но не успели. Хозяйка наша успела скрыться.

И такие дела приходится переживать тебе, Украина-ненько. В палисадниках попадается еще и чертополох, и следы от кованого вражеского сапога…

– Вот она где спряталась!

Испуганные воспоминания мигом пропали. В калитку входил высокий широкоплечий плотный человек. Карие живые умные глаза генерал-майора смеялись. Украинские ветры сделали его лицо совсем темным, солнце с ветром пополам виноваты в этом. Война прибавила

лицу его жесткие черточки на щеках и лучики морщинок у глаз. Он осторожно перешагивал через цветы, стараясь не наступить на хрупкие растения.

– Здравствуйте, Лиляна!

Это уж совсем не по Уставу. Первой должна была поздороваться я, и потому, чувствуя, что краснею, вскочила со скамейки и застыла по стойке «смирно».

– Вольно-вольно… – засмеялся генерал-майор. Он, чуть прищурясь, скользнул взглядом по моему лицу и бодро спросил:

– Так о чем же мы задумались?

Вот как! Словно я не солдат, а кисейная барышня, мечтающая в садике. Он счел, оказывается, возможным откровенно-иронически изъясняться со мной. Если так, что ж – я готова принять вызов!

– О вчерашнем думаю, товарищ-генерал майор. О хозяйке вот этой избы и этого палисадника, которая вчера сбежала.

Мне хотелось рассказать Борисову о своих размышлениях о человеке: как это можно предавать людей, посылать их на смерть и в то же самое время растить вот эти самые цветы. Как может совмещаться несовместимое? Не оброни командир дивизии свою ироническую фразу, я начала бы разговор с человеческой психологии и цветов. Но, видно, не нужны Борисову такие тонкости. Потому мне по возможности лаконично пришлось изложить суть вчерашнего разговора с незнакомой женщиной о нашей хозяйке.

– Так и не видали мы ее больше, хозяйки нашей избы, – закончила я.

– Найдется, – рассеянно ответил генерал-майор. Он помолчал немного, а потом задумчиво добавил:

– Да, и с этим приходится сталкиваться. Но главное – немец-то драпает, а? Лиляна?

Мне показалось, что он хочет о чем-то поговорить со мной, рассказать о чем-то; или просто хочется ему какие-нибудь четверть часа отдохнуть от всего, посмотреть на цветы. Но, по-видимому, отвык он за эти годы от цветов и разучился говорить с женщинами.

– Значит, бежит немец! – повторил он. – А? Лиляна?!

Нет, не приду я тебе на помощь, насмешливый человек. Ты считаешь, что можно позволить себе сказать: о чем *мы* думаем… И я по-солдатски ответила:

– Так точно, товарищ генерал-майор, бежит противник!

Он понял меня. Молодец, понял…

– Ишь, какому обращению вас здесь в штабе выучили, – снова с иронией проговорил Борисов. – Раньше вы совсем по-штатски изъяснялись. На пользу, значит, служба идет.

Неплохо, товарищ генерал! Но все-таки надо поправить положение. Нехорошо мне выглядеть такой дубовой.

– Разрешите спросить, товарищ генерал-майор.

– Спрашивайте.

– И как же долго будет отходить теперь противник?

– По-видимому, до самого Днепра. А потом бои будут, Лиляна. Серьезные будут бои.

– А в медсанбате… В медсанбате и теперь, видно, работают.

– Ошибаетесь. Медсанбат также на марше.

Я облегченно вздохнула. Значит, зря укоряю себя за вынужденное безделье.

И снова Борисов смотрит на меня веселыми глазами, снова хочет о чем-то говорить со мной. Но, видно, трудно отойти ему от военной темы:

– И насколько же, как вы думаете, откатится сегодня противник?

– Не знаю, товарищ генерал-майор.

Я заметила, как что-то дрогнуло на лице этого человека. Но это только было едва уловимым, мгновенным.

– Ну-ну… – еле слышно проговорил он и зашагал через цветы к калитке.

Обиделся? А за что? А сам-то? Неужели не понимает он, что обидна до слез его снисходительность, что взгляд сверху вниз ни от кого на свете не потреплю я. А, впрочем, к чему это ты, Лиляна? Кто он тебе, этот человек? Почему ты начинаешь предъявлять к нему

какие-то требования? Не знаешь, почему?! Разбирайся-разбирайся. Думай сама. Делиться не с кем. Что-то не ладно у тебя получается, Лиляна.

Я подошла к осоту, который виднелся у самой ограды, и изо всей силы, упершись ногой в штакетник, обеими руками ухватившись за колючий стебель, с силой потянула его. Не поддается. Рванула сильнее. На сапоги мои посыпались комья черной земли. Я бросила вырванный сорняк у ограды и снова вернулась на скамейку.

Когда же ты поумнеешь, Лиляна? Да, тебе хотелось бы снова вернуться в медсанбат. Радуйся, что никого не надо перевязывать. И что только о тебе подумает Борисов? Пусть думает, что хочет. Какое мне дело. А так ли? Так! Так! Должно быть так!

Что-то рука ноет. Занозила, верно. Ну да что с ней, заживет…

Глава 17
Главная магистраль

У человека должна быть главная магистраль. Всегда. В жизни без нее нельзя. Сойдешь на побочную тропинку, и заведет она в такой тупик или дебри, что не сразу и выберешься, а иной раз и не выберешься до самого конца – все будешь плутать по обочинам, упираться в тупики, а главная линия твоей жизни будет для тебя потеряна. И во всем так. В выборе профессии, в главных, определяющих поступках, и… и в любви – тоже. Не разменяваться на мелочи. Только когда поймешь, что любишь, что нельзя тебе без этого человека, только тогда можно сказать – ДА! Но ведь не все так просто. Иногда трудно определить сразу, настоящее это или нет. А для того, чтобы не ошибиться, спешить не следует. А если обстоятельства? Ну, что ж, что обстоятельства? Если это и есть любовь, то не уйдет она от тебя. Спешить же… А вдруг это и не любовь, а просто желание любви, побег от одиночества? Что тогда?

– Товарищ начальник!

Передо мной – капитан Васильченко.

– Товарищ начальник, разрешите представиться – капитан Васильченко. Он же секретарь партийной организации, где вы имеете честь состоять на учете, – блестя чуть выпуклыми глазами, обращается ко мне Васильченко. – Разрешите все же обратиться!

Вот зубоскал. Но тон взял, пожалуй, верный. А то я что-то уж слишком расфилософствовалась.

– Вольно-вольно, – покровительственным тоном ответила я. – Мне уже известно, что вы наш секретарь первичной партийной организации. Пожалуйста, обращайтесь, товарищ капитан. Так уж и быть. Правда, у меня сейчас особенно трудновато со временем, загружена очень работой, но минуток этак шестьсот могу уделить для аудиенции.

Сказала это и чувствую – злыми глаза мои стали. Капитан понял

меня и снова мое раздражение постарался погасить шуткой:

– На шестьсот минуток у меня и слов не хватит. На разъяснительную работу надо резерв сберечь. Так что малость покороче придется.

И уже серьезным тоном Васильченко говорит о том, что пора бы мне вроде и в партию оформляться. Кандидатский стаж, как известно, на фронте короче, чем в тылу. Для нас достаточно четырех-шести месяцев, а для тех, кто на самой передовой, под огнем, – и трех месяцев. Так что следует мне, Лиляне Орлович, взять рекомендации и подавать заявление. Словом, позаботиться о себе.

Я не выдерживаю и взрываюсь:

– Да кому нужны такие коммунисты, как я? Что я делаю? Путешествую по Украине на штабных машинах! Философствую! Красотами любуюсь!

– Очень хорошо, – невозмутимо парирует Васильченко. – Красотами тоже полезно любоваться, если кто в них смыслит.

– Как же! Для этого я сюда, на фронт, и приехала!

– Ну не стоит так горячо, а то припекать начинает, – снова отшучивается Васильченко. – Давайте-ка разберемся. Во-первых, вы заняты делом. Машинистка в штабе дивизии по штату положена. А что касается дела, то оно еще будет – не беспокойтесь. На всех хватит, как говорят – под завязку. Ну, а что Украиной любуетесь, так то же – похвально. Украина…

– Страна ископаемых богатств и нежных песен, – подхватываю я.

– Подслушивала? – осевшим голосом спрашивает Васильченко, и глаза его глядят подозрительно и тревожно.

– Зачем же? Вы так громко тогда говорили, что за три хаты слышно было. Смершевцы, что на противоположном порядке деревни остановились, даже к окнам прилипли – так заинтересовал их ваш разговор с майором Соломиным.

– Ну, хорошо, Орлович, – остывая сказал Васильченко. – О лирике в другой раз балакать будем, а теперь – дело.

– А дела-то у меня, товарищ капитан, и нет никакого. Хоть стишки сочиняй о боевых подвигах, описывай тех, кто воюет да работает по-настоящему.

– Так это же хорошо, что у нас мало дел, – не унимался Васильченко. – Пишите стишки! Собирайте материал для повести. Вон вокруг какие характеры.

– Не о том я. В медсанбате…

– И медики твои на колесах. Вот прыткая мне нашлась – раненых ей подавай.

Я потупилась. В самом деле. О чем хлопочу? Ведь и командир дивизии мне об этом же толковал.

– Да я не о раненых! Любую работу…

– Что ж, придется доложить командованию, что имеются желающие командовать… ну, на первый случай, хотя бы полком…

Я рассердилась. Вечные шуточки, словно я маленькая.

– С вами положительно невозможно серьезно разговаривать, товарищ секретарь партийной организации. Все шуточки у вас.

– Отчего же не пошутковать малость с гарной дивчиной?

– Товарищ капитан… Я серьезно.

– Ну и я серьезно. Вы же понимаете меня.

– Понимаю, Украина-ненько… Только национализмом это…

Ну что такое сегодня с капитаном Васильченко? Что я сказала обидного? Отчего лицо его стало вдруг замкнутым и серым? Чужим деревянным голосом он сказал:

– Не приписывайте хоть вы мне этого, Орлович.

Я вспыхнула. Вот он о чем? И как только мог такое на меня подумать? Я же считала его умным и проницательным. Неужели он мог все-таки допустить, что я способна…

– Вижу, что вы шуток не понимаете, товарищ капитан.

– На политические темы не шутят, Орлович. Особенно в военное время, да и в мирное тоже. – И капитан повернулся ко мне спиной. – Так вы оформляйте документы, – обернувшись, добавил он и зашагал – длинный, нескладный, добрый и обидчивый.

Я осталась, точно пришибленная. Поговорила с парторгом, пошутила, называется. Но почему он так менялся в лице, когда я дразнила его Украиной? Что обидного сказала я капитану Васильченко? Пошутила только о национализме. Но, наверное, не следовало шутить. В самом деле, обвинение в национализме – это же политический ярлык. А тебе должно быть известно, недоучившийся историк, что такое националистические уклоны. Да, но это когда было… Эх, знаток-историк! Но разве имеешь ты право забывать, что по мере нашего продвижения вперед классовая борьба усиливается. Это же сказано самим вождем в 1937 году на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б). А националистические уклоны могут быть и разновидностью классовой борьбы. Так что ли? Чепуха какая-то. Нет рядом Аркадия Петровича, с ним бы поговорить. А зачем тебе Аркадий Петрович? Вон целый политотдел рядом, иди, выясняй политические вопросы. Как бы не так! Еще в политической безграмотности обвинят. Ну, хорошо. Сморозила я, положим, глупость. Так возрази мне, капитан, докажи. Зачем же тебе, старшему по званию и по возрасту, как мальчишке, самому лезть в бутылку? Взял бы и спокойненько разъяснил кандидату в партию, машинистке Орлович, все честь по чести. А то взвился на дыбы и не осадишь. Ишь, как закусил удила.

Только позднее узнала я, что у капитана Васильченко был на эту тему серьезный разговор с начальником политотдела дивизии. О разговоре Васильченко и Соломина и о расхваливании капитаном Васильченко Украины было написано пространное заявление в политотдел, и были квалифицированы те разговоры как проявление национализма. Словом, были в ту пору у капитана серьезные неприятности. Даже стоял вопрос о замене его, как секретаря партийной организации. Но оставили это до будущих времен. Потому и ходил капитан, словно в воду опущенный, и тревогу свою и горечь старался шуткой прикрыть, а я ничегошеньки тогда не почувствовала и не поняла.

Да, Лиляна Орлович, и в политике, и в поведении тоже должна

быть главная магистраль. Но как жить и не ошибаться? Как уметь тонко все чувствовать?

Скоро Днепр. На подходах к могучему водному рубежу враг то и дело задерживает нас и изо всей силы сопротивляется. Теперь мы уже не переезжаем стремительно из деревни в деревню, теперь снова зарылись в землю, понастроили блиндажей. Дивизия заняла большой участок фронта, приходится обороняться.

Снова где-то за нами, во втором эшелоне, развернут медсанбат, и снова грузовики за грузовиками везут к приемо-сортировочному взводу покалеченных, истекающих кровью людей. Как я ни намекала капитану Васильченко и майору Соломину, что теперь для меня самая пора вернуться в медсанбат, никто из них не внял моим робким просьбам. Валино заступничество привело к первой ссоре между супругами. Словом, я по-прежнему – машинистка штаба дивизии.

…Сегодня у меня особенно памятный день. Меня принимают в партию. Волнуюсь. Еле бреду по вытоптанной стежке к политотдельскому блиндажу. Над головой – самолеты. Много их и высоко. Поднимаю голову и долго гляжу в вылинявшую синь неба. Там, под голубым куполом, в смертельной схватке наши и вражеские крылатые машины. Они так высоко, что я не слышу ни гула моторов, ни стрекота пулеметов. Просто высоко в поднебесье вверх и вниз, в стороны и наперерез друг дружке кружат самолеты – точно ранней весной у нас в селе за околицей комары «мак толкут». Долго-долго. Вверх-вниз, в стороны, кругами-кругами. И вот уже вздрогнула одна точка и, увеличиваясь на глазах, поползла, окутанная дымом и пламенем, вниз, на землю. Тянется длинный пылающий огненно-черный развевающийся хвост. С глухим взрывом сталкивается сбитый самолет с землей, вспыхивает ярким огнем. Далеко это, но чудится запах бензина, кипящей в огне краски и еще чего-то…

– Чей это? Чей? – спрашиваю я себя.

И снова, как завороженная, не могу оторваться от равнодушного неба, и снова упрекаю я его, что нет никакого ему дела до того, чьи машины падают на землю – с черными крестами или с красными

звездами. Нет, все-таки падают теперь больше те, что с черными крестами. Прошли времена, когда они били нас и на земле, и в воздухе.

Кружатся-кружатся в небе самолеты. Много еще будет дел и медсанбатам, и госпиталям.

– Заставляете себя ожидать, товарищ начальник, – иронизирует капитан Васильченко.

Я спускаюсь «с небес на землю» и замечаю, что стою у политотдельского блиндажа, и что Васильченко у входа ожидает меня. Он хоть и длинный, но заметно выделяется военной выправкой среди снующих здесь каких-то полуштатских очкастых и сутуловатых офицеров. Как-никак, а наш капитан – строевой офицер. Мельтешат штатские политработники в военной форме и с погонами. В другое время я не преминула бы вполголоса заметить что-нибудь относительно выправочки этих штатских с погонами. Но сейчас что-то не до острот. Именно эти «штатские военные» могут сегодня посадить меня в галошу.

Я прошла следом за капитаном Васильченко и выбрала себе местечко у стенки, притулилась в уголке. За столом, покрытом красной материей, – члены дивизионной партийной комиссии.

Принимают в партию солдата. У него – трехмесячный кандидатский стаж. Вот это стаж, вот это проверка – подготовка во время формирования дивизии, марш по Украине, бои. А перед тем – ранение да госпиталь. Стоит перед дивизионной комиссией советский солдат, он делами своими давно уже заслужил право быть в коммунистической партии. А с виду обыкновенный – голова его давно не стрижена, и гимнастерка просится в прачечную, только подворотничок словно бы чужой на его гимнастерке – ослепительно белый, только что подшитый подворотничок, и он предательски выдает давно не стиранную солдатскую гимнастерку. Лицо солдата строгое, загорелое, и в глазах, наверное, никакой робости. Я вижу только спину этого человека и слышу его голос. Спокойный такой голос, каким обычно солдаты на привале обмениваются новостями.

Стоит солдат твердо, прямо, чуть раздвинув пятки, крепко сжимает в руках автомат (не догадался, видно, снять, когда вошел). Я вижу, как спокойно лежит на автомате большая натруженная солдатская рука со въевшейся в кожу окопной пылью, и под ногтями у него – черные каемки. Только что с передовой этот человек. Да, он настоящий герой. Слушай же хорошенько, Лиляна. О нем докладывает заместитель командира полка по политчасти.

Это он, этот самый солдат, поднял в атаку свой взвод. Убило командира, захлебнулась атака. Солдаты так и приникли к земле. Казалось, никакая сила не поднимет их. А враг поливает огнем. Смертоносный огненный дождь полощет кругом. И слышны только стоны да крики тех, кого задевают эти огненные нити. Над головами приникших к земле бойцов проносится черная смерть. Ее громадные страшные крылья касаются то одного, то другого. Трудно в такую минуту оторваться от земли, трудно, но надо. Надо! Это понимает каждый, но не может решиться. Надо оторваться от земли, от шершавой колючей жесткой травы, от кочек и комлыжек – жестких и неласковых, прилетевших со взрывами снарядов. Жесткие и неласковые те кочки и комлыжки, но они самые близкие, самые притягательные. Поди-ка, оторвись от них! Земля раскрыла солдатам свои объятья совсем не для того, чтобы они пренебрегали ею, землей. И от нее надо оторваться. Надо! И *надо* берет верх над страхом. Человек пересиливает себя, вскакивает, и за ним – остальные. И первым, кто оторвался от земли, когда над головой полоскал свинцовый дождь, был вот этот солдат, которого дивизионная комиссия принимала в партию.

За ним очередь знаменитого в нашей дивизии снайпера. Он – казах, бывший охотник. У него на счету… Много врагов у него на счету. О нем написана уйма статей не только в маленькой нашей дивизионной газете, но и в листовках, и в центральной печати был о нем очерк. Мне видно, как ему улыбаются члены дивизионной партийной комиссии. И он уходит с гордо поднятой головой, на ходу окинув блиндаж своим острым взглядом, взглядом узких холодных

снайперских глаз.

Ну и ты, Лилянка, вздумала тягаться с такими людьми? Где тебе, беги отсюда пока не поздно. Но убежать нельзя. Обо мне докладывает капитан Васильченко. Но разве это обо мне? Кажется, говорит он о ком-то совсем на меня не похожем. Правда, я все это делала – в медсанбате работала, и студенткой была, и добровольно пришла в армию. Но зачем преподносить все это как нечто заслуживающее внимания? Разве одна я так поступаю? Мне немного неловко, и я опускаю голову в ожидании каверзных вопросов. Но никто не «ловит меня на крючок». Только по Уставу партии задали несколько вопросов. И еще…

– Пионеркой была?

– Пионеркой…

И память молниеносно переносит меня в мое детство, в родную деревеньку Борки. Осень. Доцветают в палисадниках яркие прохладно-восковые георгины. Пахнет ботвой от недавно вырытой картошки. Приветливо машет гроздьями оранжевых ягод тонкая рябинка у нашего окна. Я бегу из школы, распахнув пальтишко. Сегодня на школьном утреннике нас десятерых приняли в пионеры. Все было бы хорошо, если б не ныла коленка. Ее я ушибла, спрыгивая со «сцены»… Сцена-то – «хитрая» была – на школьные парты положили неоструганные доски, одна из них оказалась чуть длиннее прочих – вот за эту «выскочку» и зацепилась я. В другой бы раз всплакнула, а тут не до слез – на груди красный галстук. Конечно, потому и пальтишко нараспашку – пусть видят все. Бегу и от радости не заметила, что Петруся чуть с ног не свалила. Он стоит передо мной, вытирает рукавом свой нос, а на шее у Петрика мамкин платок, красный в белую крапинку, узлом на манер пионерского галстука повязан.

– Не хвастайся, Лилянка. Я тоже – пи… пинаер.

– Да. Была пионеркой, – отвечаю я членам дивизионной

партийной комиссии.

– И комсомолкой – тоже?

Комсомолкой? А как же? Это – в десятом классе. Мы шли с Колей Савчуком, который в ту пору уже работал трактористом в МТС, из райкома и бережно нащупывали в карманах тоненькие книжечки с чуть клейкими обложками. Скромные, небольшие такие книжечки, но важнее всего они для нас – на них самый дорогой силуэт. Силуэт Ильича. А Коля, помнится, говорил тогда:

– Знаешь, Лилянка, хочется сделать что-то особенное… Хочется, чтобы – яркая радуга через все небо!

– Да. И в комсомоле была.

Меня приняли в члены Коммунистической партии. Это – самый знаменательный день в моей жизни. Гулко колотится сердце. Теперь я должна жить как-то иначе. А как? Чтобы не было за меня стыдно тем, кто принял меня в свои ряды, чтобы все меня касалось. И, главное, – не быть равнодушной. Нигде! Никогда!

Коммунистическая партия… Это самое могучее, что есть на планете. Сильна она своей великой правдой. Реют над нею знамена. Алые, как огонь. Пурпурные. Красные. Бардовые. Цвета крови. Цвета солнца. Цвета жизни. Если стал ты под эти знамена, так смотри же – ни помыслом своим, ни делом не брось на них тени. Помни, что человечеству нелегко дались эти знамена. Чтобы реяли они как гордые птицы, пролита кровь лучших людей, любивших жизнь и человечество.

Ты любишь смотреть, как шелестят отглаженные праздничные шелковые знамена над ликующей толпой. Так знай же: простреляннные пулями, обожженные яростным огнем противника, они зовут тебя в бой.

Так смотри же, не оступись, если встал под священное знамя. Слышишь?

Я выхожу из политотдельского блиндажа. Меня поздравляют,

говорят что-то хорошее, шутят. Я рассеянно отвечаю, потому что не хочу отставать от Васильченко, который уже размашисто шагает по утоптанной тропинке. Мне очень хочется поговорить с ним, узнать, какое даст он теперь партийное поручение. Я бегу вслед за капитаном.

– Куда вы так торопитесь? – раздается за моей спиной знакомый голос. Козырев. Он поравнялся со мной и идет рядом.

– Здравствуйте, товарищ старший лейтенант, – с небольшим опозданием говорю я.

– Можно и второй раз поздороваться, – улыбается Козырев.

Это уж совсем нехорошо – значит, я не заметила его там, в политотдельском блиндаже.

– Что вас давно не видно, товарищ старший лейтенант?

– Работа все, работа, – повеселел Козырев.

Чувствую, что хочет он спросить меня о чем-то. Но не решается. Лицо его застыло в каменном спокойствии, и потому что спокойствие это – деланное, догадываюсь, Геннадия Козырева как-то задевает мое к нему отношение.

Примерно представляю себе характер вопросов, которые вертятся у него на языке. Хорошо, что не спрашиваешь. Удивительное дело, и почему ему мало хорошего дружеского отношения? Почему он готов подозревать меня, бог знает в чем? По-хорошему, мне надо бы поговорить в тобой, Гена Козырев. Много разных «почему» накопилось. Васильченко не до меня сейчас. У него свои заботы – служебные и партийные, да и не знаю я его еще как следует. Тебя, Геннадий Козырев, знаю больше. Но как-то не выходит у нас с тобой того разговора, какой бы мне завести хотелось. И не надо смотреть на меня столь подозрительно. Товарищ старший лейтенант, а ведь то, о чем ты хотел выведать – *неправда*… Ну почему ты не веришь так, как поверил бы мне всякий, кто знает меня?

Мы идем рядом по тропинке, вытоптанной в поле жесткими армейскими сапогами. Идем и молчим. Я тоже хочу спросить старшего лейтенанта, не он ли написал обо мне очерк в нашу

дивизионную многотиражку? А вдруг не он? Только в неловкое положение поставишь человека. Там много хорошего сказано обо мне, там вера в меня. А здесь? Нет, нельзя спрашивать

– До свидания.

– Спешите, Лиляна?

– Да. Мне еще с капитаном Васильченко поговорить надо. В штабе некогда будет. Занят он. Так я догоню и по дороге скажу… – крикнула я, убегая.

* * *

Валя решила «званым обедом» отметить сразу два события: мое вступление в партию и получение майором Подковкой очередного воинского звания. Теперь он – подполковник.

– Подполковник Соломин, подполковник Соломин, – бормочет она и потом со смешинкой начинает напевать, – два просвета, две звезды… – И я чувствую, что она очень рада за мужа.

– Два просвета, две звезды, – смешно напевает она, накрывая на стол.

Я пытаюсь помочь, но Валя упрямо доказывает, что справится самостоятельно и, «смилостивившись», предлагает мне заняться черновой работой. Я сооружаю из пустых ящиков некоторое подобие стола. Накрываю их новенькой плащ-палаткой и сверху стелю кусок кремовой бязи. Ну, чем не скатерть?

Снуют проворные Валины руки. Она очень волнуется – ведь это первый в ее замужней жизни «прием гостей». Я помогаю резать американскую колбасу, которую выбиваю ладонью из цветной заморской коробочки. Валя орудует прикрепленным к коробочке ключиком, вскрывая еще несколько таких цветастых баночек. Мы придумываем незатейливые «приборы» из бумаги. Что же делать, если не хватает посуды? Готовим салат. Валя ухитрилась достать где-то растительное масло. На столе – помидоры, огурцы. С шумом высыпает Валя в бумажную вазочку жесткие армейские галеты.

Мы едва успели приготовить все, как появился новоиспеченный

подполковник. Он привел с собой капитана Васильченко, и блиндаж сразу наполнился певучим украинским говором. Мне нравится манера Васильченко – вплетать в русскую свою речь певучие яркие украинские слова, веселее становится от его образных ярких словечек, даже «с перцем» которые…

Мы сидим уже за столом, когда неожиданно для меня появляется командир дивизии. Собственно, это, по-видимому, только для меня неожиданно.

– Пожалуйста к столу, Владимир Викторович, – радушно приглашает подполковник Соломин.

Валя ставит перед Борисовым целый столовый прибор – две мелких тарелки, кладет вилку и столовый нож (где и когда она только раздобыла все это?). Генерал-майор усаживается напротив меня. Он, с шутками и потирая руки, берет наполненный алюминиевый стаканчик, закусывает, шутит с Валей, перебрасывается замечаниями с капитаном Васильченко. Только со мной – ни слова. Я чувствую себя поэтому, действительно, «не в своей тарелке»… Я, кажется, покраснела. Хорошо, что хоть светильник далеко, и никто этого не заметил.

Когда мы поднимали тост за новые подполковничьи погоны, я, осмелев немного, заметила, что и для полковничьей звездочки уже готово место. Все засмеялись, разглядывая бывшие майорские погоны Подковки, переделанные на подполковничьи. Просто Валя осторожно вынула звездочку с середины погона и прикрепила по две на каждом из просветов. Запасных погонов у Соломиных не было.

– А теперь, друзья, выпьем за молодую коммунистку! – предложил Борисов. Он встал и протянул алюминиевую стопку ко мне. Все зашумели, потянулись в мою сторону, а Валя – умеет же смутить, тихоня! – подбежала и звонко поцеловала в щеку.

– Считайте, что это за всех, – рассмеялся Борисов.

…А потом мы пели песни. Запевали Подковка и Васильченко. У подполковника оказался серебряный тенор, а у капитана мягкий низкий баритон. И вот их голоса, переплетаясь, оттеняя друг друга,

рассказывают о широком просторе, о зеленых лугах и тенистых дубравах, о тоскующей любви. Мигает самодельная лампа, сделанная из гильзы от снаряда. Над головой бревна в три наката, за дверью – всего несколько километров – враг. А здесь – песня, грустная, хватающая за сердце.

Почему-то я боюсь взглянуть в сторону Борисова, боюсь встретиться с ним глазами.

Мне становится как-то лучше, когда под аккомпанемент аккордеона, на котором хорошо играет Подковка, мы все вместе поем о войне народной, о проводах на фронт, об ожидании и о верности.

– У каждого поколения свои песни, – говорит Борисов. – Вы не помните буденновскую – «Там вдали за рекой…»?

– Почему же? – откликается Васильченко.

Эту песню поют они втроем, Соломин, Васильченко и Борисов. Вот уж совсем не ожидала, что наш командир дивизии еще и петь умеет. Немодным последнее время для командиров такого масштаба было распевать песни. Почему-то считалось это несолидным…

Я зачарованно слушаю. Кажется, открыла в этом человеке еще много хорошего. Он общительный, компанейский. Не разучился быть веселым, не «засушила» его война.

Валя суетится, подает чай. Я начинаю помогать. Мы меняемся местами. Васильченко пересел к Соломину, и они вполголоса о чем-то спорят. Мое место заняла Валя, и мне осталось сесть рядом с Борисовым. Снова стало почему-то неловко. Несмело взяла свою кружку. Горячий. Пусть остынет.

– Что же вы такая строгая, виновница торжества? – вполголоса спросил меня Борисов. Он наклонился и смотрит мне прямо в глаза, словно ожидая какого-то особенного ответа.

– Откровенно?

– Конечно!

– Открываю для себя людей…

– Выводы?

– Положительные… Положительные выводы. Плохо, что не

умею я сразу разбираться в людях.

– Ну, это дело наживное, Лиляна…

Я не знаю, как вести себя. Оказывается, я умею преглупо смущаться. Выползают мои провинциальные «уши», как ни «причесывала» их покойная Валентина. Я сержусь на себя за скованность и неловкость, за неумение держаться. Не знаю, о чем можно говорить с Борисовым. Слышу, что Васильченко и Соломин говорят о трудностях, предстоящих дивизии при форсировании Днепра. Значит, предстоят большие бои. Следовательно, надо попроситься снова в медсанбат. Но… Я знаю, что это не положено в армии – просить командира о чем-то. А на переправе я могла бы оказаться полезной. Горячо там будет, и каждый человек окажется на счету.

– Товарищ генерал-майор…

– Можно: Владимир Викторович, Лиляна.

– Владимир Викторович, – несмело повторяю я и чувствую, что безбожно краснею. – Разрешите мне помогать санитарам на переправе, когда будем Форсировать Днепр.

Лицо Борисова резко меняется. Он даже не считает нужным скрывать свое неудовольствие. Но, по-видимому, у меня умоляющие глаза, потому что после небольшого колебания он говорит:

– В виде исключения. Один только день. По согласованию с подполковником Соломиным.

– Спасибо! – и, забывшись, я протягиваю к нему руки. Он осторожно берет их и… и подносит к своим губам.

На пороге нашего блиндажа внезапно возникает адъютант командира дивизии.

– Товарищ генерал-майор, вас к аппарату…

Борисов уходит, а мы продолжаем свой маленький праздник. Скоро нас выведут из второго эшелона. Скоро бои за Днепр…

Глава 18
Дойдем до Берлина!

На школьных географических картах Днепр – это просто извилистая голубая полоска – большая европейская река; на топографических трехверстках, что лежат аккуратно сложенные под тусклым целлулоидом офицерских планшетов,– это водный рубеж, который предстоит форсировать подразделениям; для солдат, которым надо поспеть вовремя на тот берег, река эта – граница между жизнью и смертью.

Противник закрепился в кустах на том берегу. Перед его носом – длинная песчаная отмель, и на отмели этой, зарывшись в песок по самую макушку, первые подразделения храбрецов, которые сумели вырвать из зубов у противника эту узенькую полоску песчаного берега и укрепиться на ней. Враг яростно наступает, он еще надеется столкнуть обратно в реку этих храбрецов, а они держатся за эту песчаную отмель, упорно отражают наскок за наскоком. Одновременно противник обстреливает реку, чтобы помешать тем, кто направляется на помощь храбрецам, которые осели на «малой земле». Но достичь этой «малой земли» не так-то просто. Противник методично обстреливает этот берег. То в одном месте, то в другом поднимаются высокие водяные столбы. Глыба воды, как будто отлитая из металла, словно кто с неимоверной силой тянет ее к небу, устремляется сначала вверх, постоит-постоит и, словно бы нехотя, с шумом, пенясь и грохоча, падает вниз, рассыпаясь веером сверкающих на солнце брызг. Оглушенная рыба всплывает животами вверх и плавает так, неестественно белея во вспенившейся сердитой воде. На нашем берегу тоже кусты гибкой лозы. Стоят они, засыпанные почти до половины своих гибких побегов сыпучим белым приднепровским песком. Под эти кусты мы стаскиваем раненых и укладываем их там до тех пор, пока проберется к нам шустрая трехтонка и заберет их отсюда в медсанбат.

Работаем мы втроем – два санитара и я. И работенки нам все прибавляется, и прибавляется. С горечью отмечаю, что то один, то другой сапер, из тех, что стучат на берегу своими топорами, появляются перед нами и просят перевязать. Многие возвращаются к своему делу снова, и я вижу, как мелькают их пропитанные кровью повязки. Вот и еще одного привели. Рука вся в крови, держит он ее чуть на отлете, а из другой топор не выпускает.

– Вот папашу перевяжите, сестрица, – говорит мне молодой боец из саперного батальона. – Он местный, рыбак, – бросает на ходу парень и спешит к берегу, где работают его товарищи.

– Дедушка, как же вы так? – спрашиваю я, перевязывая руку старика.

– Та само так, как и воны, – отвечал старик, указывая на раненых, что лежат под кустами.

– Я не о том. Они – солдаты, а вы…

– Был и я у солдатах, а сыны и теперь на войне.

Я торопливо бинтую худую старческую руку. Хочу отрезать ножницами почерневший, набрякший кровью рукав гимнастерки старика.

– Не порти добро, сестрица, – строго говорит старик. – Мне эту амуницию выдали товарищи – те, что на берегу.

На старике – наша военная форма, только гимнастерка без погон. Не мелкая скаредность заставляет его беречь военную форму – он бывший солдат, в этом дело. Я потихоньку закатываю волглый рукав и помогаю старику поудобнее пристроить руку на кремовой бязевой косынке.

Я очень тороплюсь. Гимнастерка моя, чувствую, на спине мокрая от пота. И везде песок – в сапогах, в волосах, в ушах. Мы втроем едва управляемся.

– Подумать только, что там, на том берегу, делается, – бормочу я себе под нос.

То, что здесь делается, – это цветочки. Я упрямо думаю, что мне тоже надо туда, где укрепившись на узенькой песчаной полоске, –

рукой подать до противника – бьются наши. Я отлично помню, что мне приказано эвакуировать раненых отсюда, с этого берега. Но я заметила, как вздрагивает один из моих товарищей, пожилой санитар, когда слышит взрывы. Вот и оставлю я его на этом берегу, а сама – туда, на «малую землю». Поймет мое начальство – мы действуем исходя из обстановки. Я же смогу работать там, на песчаной косе. Там нужна моя помощь. Вон и тот плот, у которого дедусю ранило, заканчивают. Поеду! Только просигналят саперы. Иду!

– А вы далеко ли? – раздается над самым ухом строгий чуть насмешливый голос.

Я умышленно затягиваю окончание перевязки – старательно завязываю бантиком бинт. Но не бесконечно же все это может продолжаться.

– Здравия желаю, товарищ генерал-майор, – справившись со смущением, отвечаю я наигранно бодро.

Но вижу, что этот номер здесь не пройдет. Трудно как-то «выкручиваться» – надо говорить правду. Улики-то налицо – я у самой воды, и плот готов. Так что замысел мой кому только не стал бы ясным. Надо признаваться:

– На тот берег, товарищ генерал-майор.

Неужели не получилось спокойного и уверенного ответа? Не получилось… В том убеждает меня голос старого рыбака, который с перевязанной рукой все же сполз вниз к воде:

– Геройская сестрица.

– А вы, отец, как здесь оказались? – пойдемте-ка отсюда, и Борисов, взяв старика под руку, повел вверх, к кустам.

– Вот здесь получше будет, – проговорил он, устраивая старика. – Да вы лежите-лежите, – мягко попросил он дедушку, когда тот попытался было приподняться.

Я стояла рядом с командиром дивизии и не знала, как вести себя. Раненые были все перевязаны, машина не подошла, так что и предлога не было, чтобы сбежать.

– Вот подмогнуть хотел, да не вышло, – устало проговорил

старик. – Зацепило малость, – и узловатая кисть старческой руки со вздувшимися венами провела по косынке, что поддерживала раненую руку.

Рядом со стариком лежал топор, обрызганный кровью – старик, видимо, сгоряча сразу после ранения пытался тюкать своим инструментом.

– Не дело, папаша, не дело, – мягко заметил Борисов. – Мы и так управимся. Сил у нас достаточно.

– Так-то оно так, но и лишние руки в эту страду не лишни, – упрямо возразил старик.

– Зацепило вот вас…

– Ну, так что ж теперь? И вас тоже может, пуля – она глупая. На то и война. Хиба ж без того можно, чтоб не поранили?

– Наше дело другое, отец.

Я вслушивалась в этот голос и удивлялась – как по-разному может он звучать. Строго, требовательно, даже сурово в штабе; чуть насмешливо и немножко неуверенно – в разговоре со мной; весело и дружески – тогда, во время нашего с Соломиным праздника; и почтительно-ласково, с сыновней заботливостью – в разговоре с этим старым рыбаком.

Он не отказывал мне в моих просьбах – меховушку погибшего лейтенанта разрешил носить, и сюда, на берег, пустил. Неужели откажет, если попрошусь на «малую землю»? Нужны там санитары, я знаю!

– Товарищ генерал-майор…

– Что, Лиляна?

– Разрешите мне на тот берег…

Глаза его сразу же стали строгими и официальными.

– Не разрешаю. Будете здесь. Встречайте раненых.

Ну, что? Получила? Я зашевелила мелкий песок носком сапога, нагнула голову. Стыдно.

– Да поберегите же себя, девчонка… – тихо сказал он мне.

Сказал таким голосом, которого я раньше не слыхала. Я

удивленно вскинула голову, подняла глаза. Он еще хотел что-то сказать и совсем незаметно дотронулся до рукава моей гимнастерки. Я вопросительно посмотрела ему прямо в глаза. И он опустил руку, а потом молча зашагал к понтонной лодке, в которой уже сидели несколько бойцов. Я слышала, как скрипит белый приднепровский песок под его сапогами. Навстречу ему бросился адъютант, что-то говорил ему, а Борисов будто не слышал доклада, шел еще быстрее. Я видела, что адъютант бежит за ним вприпрыжку, придерживая рукой болтающийся на боку планшет.

Что я наделала? Зачем я так? Я же смотрю ему вслед? Хочу быть рядом с ним, в лодке. Пусть он насмешливым голосом говорит мне самые обидные слова… Нет, неправда! Обидных слов я не хочу от него слышать. Пусть говорит просто так, как со всеми, как с Валей, с подполковником Соломиным.

Я слышу властный его голос:

– Ну что ж, товарищи, поплыли?

Еще не поздно, Лиляна. Он же смотрит в твою сторону. Помаши ему, чуть заметно подними руку. Он поймет. Такой уж это человек – дано ему все понимать. Это не так-то часто встречается, когда люди способны понимать твои мысли. Но…

«Назло Генке Козыреву?» – вдруг обожгла меня мысль. Ах, при чем здесь Козырев? Как я посмела хоть на минуту о том человеке, который плывет сейчас в понтонной лодке «на малую землю», думать не как о командире дивизии, а… И не стыдно? Эх ты, недоучившаяся студентка, разве ровня он тебе? Откуда ты взяла, что он как-то особенно говорит с тобой? Сегодня? Ну, что особенного сказал он сегодня? Человек под огонь едет, под пули, вот и сказал чуть потеплее, а ты… Самоуверенная зазнайка! И почему ты вбила себе все это в голову? И что он тебе… Колю Савчука напоминает, да мало ли в ком ты начнешь искать сходства с первой любовью твоей? Смуглый цвет лица, глаза, видите ли, похожие… Легкомысленная дура! Что, забыла, как Клава говорила: из под пушек гонять лягушек… Стыдись! Хорошо, что ни одна душа до самой смерти

твоей не узнает твоих глупых мыслей. Ах! Любовь. Ах, внимание такого человека. Нужна ты ему… И что тебе в нем приглянулось? Властный голос? Снова – красота? Да пусть человеку с самой заурядной внешностью дадут такую власть над людьми, будет он выглядеть и властным, и значительным. Так-то!

Нет! Не так! Он… Он самый лучший из тех, кого я знаю. Да! Да! И нечего притворяться перед собой. Но… Но никогда не должен он узнать об этом. Никогда! Потому что невозможно это. Не должна ты и думать о нем, не должна! Нет, не любишь ты его, Лиляна. Не любишь, – и точка.

Ну, хорошо, пусть – не любишь. Так почему же ты пристально глядишь, как, оставляя неглубокую водную бороздку, удаляется понтонная лодка? Почему ты тревожишься? Почему ты хотела бы очутиться там, рядом с ним? А дальше? Что же дальше, Лиляна Орлович?

Все тише и тише звук мотора. Широкая эта река – Днепр. Медленно плывет лодка. Ох, как медленно. Только бы благополучно все обошлось. Только бы не обстреляли.

– Сестрица, помоги-ка мне малость, – просит старик.

Я помогаю ему подняться. Подошел маленький низкорослый солдат из саперного батальона. Только теперь я разглядела его как следует – он не маленький и не низкорослый, он просто совсем мальчишка. Это он и привел тогда раненого рыбака. Они стоят теперь рядом – старый и молодой – и тоже смотрят, как вырастают неподалеку от плывущей понтонной лодки высокие водяные столбы. Они перебрасываются, будто нехотя, будничными словами:

– Да-а, понаглушил рыбы, проклятый, – бормочет старик.

– Хоть бы переехали скорее, – отзывается молодой сапер, который, по-видимому, недавно на фронте: вон, как вздрагивает, когда появляется очередной столб воды. Он держит в руках тоненькую лозинку, этот мальчик, и не чувствует, как пальцы его ощипывают листок за листком.

– Переедут, – обнадеживает старик, а сам, вытянув тонкую

жилистую шею из просторного воротника гимнастерки устаревшей формы, пристально вглядывается дальнозоркими старческими глазами в ту сторону, где скользит понтонная лодка.

– Гляди-ка, никак задело, – волнуется молодой сапер.

– Тихо ты, не накаркал бы беды, – неуверенно отзывается старый рыбак.

– Право, задело, – испуганно уверяет сапер.

Я тоже вижу, что рядом с лодкой разорвался снаряд. Мелкие брызги каскадом обрушились на тех, кто в лодке. Что же это? Хоть бы уцелели… Не погибли бы… – бессвязно шепчу я.

– Плавать-то не все могут? – спрашивает, ни к кому не обращаясь, старик.

– Поплывешь тут, – горячится сапер, – вода уже холодная, да и шинель… Не скинешь ее на ходу, шинель-то. Эх! – сокрушается он.

У ног молоденького сапера на белом сыпучем песке зеленая россыпь листьев, точно аппликация, а в руках – тонкая лозинка, и он не замечает, как руки сначала теребят ее, а потом вяжут в замысловатый узел.

– Плыть-то им туда надо, к тому берегу, – определяет старик, – попрыгали в воду, а теперь как?

А теперь как? И ничем не поможешь им. Выберутся, спасутся? И до того берега тоже неблизко.

Но не одни мы наблюдаем за лодкой. С берега отрывается юркий самодельный челнок и спешит к месту катастрофы.

– Вот и моя посудинка сгодилась, – удовлетворенно говорит старик. – Продержались бы только.

А они держатся. Видно, осколок попал только в одну секцию, так что есть еще надежда…

– Продержатся, – успокаивает старый рыбак.

– Продержатся, – тихо повторяю я.

– Ну вот и помощь… Успел! – восхищается молодой сапер.

Старик негнущимися руками, просыпая на колени самосад, медленно скручивает цигарку.

– Дайте я помогу вам, дедушка…

Я пытаюсь свернуть для старика папиросу и замечаю, как мелко-мелко дрожат мои руки…

Через некоторое время на марше я рассказываю Вале о том, как обстреляли лодку, в которой командир дивизии переправлялся «на малую землю».

– Пришлось поволноваться, – заключаю я свой рассказ.

– Вестимо, – тянет Валя. Как она сейчас похожа на Клаву, медсанбатовскую Клаву, влюбленную в генерала.

Так вон оно что! Ну почему все решают за меня то, к чему я сама даже приступиться боюсь? Почему даже Валя, добрая, милая, тихая Валя и та думает, что…

Мне горько. Я надолго замолкаю и плетусь за Валей, ступая ей след в след.

Уже наступила осень. За Днепром нас встретила непогода. Воют злые ветры, полощут косые холодные дожди. Дороги так расквасило, что даже наипрочнейшие воинские повозки ломались, а лошади-тяжеловозы тонули по брюхо в грязи. Грузовики почти все стояли «на приколе», а водители «загорали» под дождичком. Как только можно было мало-мальски двигаться, мы продвигались вперед. Пехота-матушка еле успевала за противником. Слякотная непогодь не мешала, однако, противнику показывать класс величайшего драпа. От этого становилось легче на душе.

Вот и теперь шагаем и шагаем. Разговор у нас не клеится. Я немного обижена на Валю и потому помалкиваю. Потом мне становится жаль ее. Она такая хрупкая, маленькая, но держится молодцом. И отказалась ехать с подполковником Соломиным на штабном «виллисе». Холодные капли дождя секут ее по лицу, ветер беспощадно треплет выбивающиеся из-под капюшона плащ-палатки светлые прямые волосы. Такая она маленькая, беззащитная. Плащ-палатка мешает ей идти. Мне значительно легче – я и сильнее, и ростом повыше. Ну, зачем я обиделась на нее? Нам и так нелегко

шлепать по жидкой грязи, и идти так далеко, что не знаем, когда и привал. Впереди длинная, как ожидание, дорога…

Жирный украинский чернозем не жалует наши солдатские ноги – на сапоги ошметками налипает грязь, плащ-палатки не спасают наших шинелей – на полы их тоже набралось столько грязи, что они заметно тянутся вниз, волглые, измазанные. Мне хочется подбодрить Валю, и я нарочито громко говорю:

– Выполняй, солдат, службу! Ножку, ножку!

Валя только находит силы робко улыбнуться. Нас догоняет Подковка. Он пробует уговорить Валю поехать в машине, но она и слушать не хочет.

– Не горюйте, девчата, – остается только и сказать ему. – Поднимайте носки повыше, да пяточки побыстрее из грязи тащите. Километра два осталось, а там – привал.

Подковка подмигивает своей жене, стараясь подбодрить, поддержать ее. Я вижу, как обмениваются они взглядами и как появляются светлые лучики в усталых Валиных глазах, и мне немножко становится завидно чужому счастью. Нет, я неправильно говорю, что завидую Вале. Я радуюсь, что ей так хорошо, это же замечательно, что встречается на свете такая светлая и красивая любовь. Вот я и хочу для себя такого…

Вытаскиваю сапоги из грязи и не перестаю размышлять о том, как хорошо быть и по-женски счастливой. Но это не так просто, найти счастье. На дороге оно не валяется, а на фронтовой дороге – тем более.

Наконец-то я различаю деревенские хатки.

– Деревня! – кричу я Вале возгласом Колумба, открывшего новый материк.

– Деревня… – повторяет Валя. – И не сразу заметишь ее, хатки-то как замуртазились, – по-детски говорит она.

Солдат комендантского взвода по приказанию Подковки привел нас в избу. Когда мы с Валей перешагнули порог, хозяйка только

ойкнула и бросилась помогать нам развязывать мокрые узелки завязок плащ-палатки. Мы с трудом выбрались из стопудовых шинелей.

– Маруся, – крикнула хозяйка своей молоденькой дочке, – да помоги девчатам.

И быстрые тоненькие Марусины пальчики забегали по крючкам наших шинелей. Девушка проворно помогала нам стаскивать сапоги.

– Да вы на печку полезайте. Тепло там! – пригласила Маруся.

Мы с Валей переглянулись и освободили добрую Марусю от труда повторять приглашение. Мигом очутились на печке и прильнули к горячим кирпичам.

Мы не можем сразу прийти в себя – наслаждаемся, ощущая каждой клеточкой своего тела, как вливается в него тепло. До чего же славно в этом запечном раю на старых свитках и ряднинках. Мы поглядываем на Подковку сверху вниз, как восточные повелительницы на своих подданных. Мы чувствуем себя избранницами, на которых снизошла милость всевышнего. Жаль только, что милость эта так быстротечна. Но все-таки, если ничего не случится, то можно блаженствовать здесь до самого утра…

– И везде этому слабому полу поблажки, – шутливо бормочет Подковка, но видно, что рад он и за Валю свою, и за меня.

Мы с Валей растаяли от удовольствия. Ну где, ну когда на войне за нами так ухаживали? Вот хозяйка подает нам на печку хлеб, нарезанный толстенными ломтями, и целую крынку молока. А Маруся, взбираясь к нам, протягивает Вале узелок, в котором шуршат высушенные тыквенные семечки. Это же настоящий пир! Так почему же нам не смотреть на остальных штабников наших с печной высоты несколько заносчиво?

Валя устроилась у трубы. Побеленная чистенькая труба эта говорит о том, что во время войны обитатели хатки немало времени проводили на печке. Прятались от немцев. У меня по другую сторону примостилась Маруся. Я лежу посерединке. До чего же красивая девочка, эта Маруся! Я незаметно пододвинула коптилку, чтобы

получше разглядеть ее лицо. У нас в Белоруссии, не спорю, много красивых женщин, и меня этим-то не сильно удивишь. Но Маруся… Это что-то особенное. Искоса поглядываю на точеное Марусино личико и думаю, до чего же щедра иногда бывает природа. Этакой красоты, какой оделила она Марусю, хватило бы с лихвой на добрый десяток девчат.

– До чего же ты красивая, Маруся, – откровенно говорит Валя.

Я шутливо сплевываю через левое плечо и дружески подмигиваю девчушке. Она еще подросток, и, верно, непедагогично поступаем мы, затевая этот разговор.

– Да что вы! – смущается Маруся. – Мамо! Я пособлю вам, – говорит она и спускается с печки.

– Как нехорошо вышло, – шепчет Валя. – Они подумают, что я подлизываюсь за печку и угощение, – огорчается она.

– Ничего, – успокаиваю я Валю, – Маруся и вправду редкая красавица.

Мы наблюдаем, как девушка хлопочет в хате, стараясь помочь матери по хозяйству. Хлопнула дверью, выбежала за чем-то во двор. Марусина мать взобралась к нам и устроилась у стенки рядом со мной. Мы услужливо посоветовали ей перебраться на самое лучшее место, к печной трубе, но она великодушно отказалась в пользу Вали.

– Красота – это и счастье, и несчастье,– проговорила женщина, – вот сейчас Маруська убежала во двор, а мне и не страшно – наши пришли, не обидят. А при немцах ховать мне приходилось доню свою. Марусю-то сберегла, младшенькую, а Надейку… – и хозяйка наша стала прикладывать широкий рукав своей кофты к глазам.

– Старшая моя, Надя – та еще краше Маруси будет. Не одна я так говорю, люди определили.

– А где же Надя? – несмело спросила я.

– Надя? – и женщина снова всхлипнула. – Угнали ее в Германию, не уберегла я. Что скажу отцу, когда он с войны воротится?

– И вы ничего не знаете о Наде? – тихо спросила Валя.

– Отчего же, знаем. Письмо она недавно прислала, – грустно ответила женщина. Доню, достань-ка Надейкино письмо, попросила она только что вернувшуюся в избу Марусю.

Та порылась в печурке, достала небольшой клубочек серой шерсти и быстро стала разматывать толстые нитки, – в середине был запрятан несколько раз завернутый в белую коленкоровую тряпочку исписанный крупными буквами листок.

– Возьмите, почитайте, – бережно касаясь листка, предложила нам Марусина мама.

«Родная мамочка и сестрички Маруся!

Сегодня воскресенье. У меня выдалась свободная минутка, и я пишу вам. Письмо с далекого чужеземного края на свою родную любимую Украину, своей родной мамочке и сестренке Марусе от Нади Цибан.

Добрый день или вечер, моя дорогая мамочка и сестричка Маруся. Передаю я вам свой привет и желаю вам счастливой жизни в своей хате. Хочу я сообщить вам, мамочка, о своей одинокой доле, о своей жизни в далекой стороне. Осталась я одна, как былинка в поле. И не к кому мне голову приклонить. Куда ни пойду, везде чужие люди, чужая речь непонятная. Мамочка, родная, как подумаю, что вы там остались с Марусей, а папа воюет, то сердце мое заболит-застонет. Все наше семейство разлетелось в разные стороны. И встретимся ли мы? Мамочка моя, если бы были у меня крылья, полетела бы я к вам. Как бы я делала все по хозяйству, и никакой бы вы заботы не знали, а теперь, теперь… Опустело все. И в селе теперь, видно, скучно стало. Не запоет никто, не заиграет, и дорожки все полыном позарастали. Пишите мне. Берегите Марусю, пусть не будет у нее моей доли. Целую вас. Надя Цибан».

Я долго держу в руках написанное по-украински это письмо и не перестаю удивляться, как немецкая цензура пропустила его. И понятно мне стало, почему мать так тщательно прячет и бережет эту весточку.

Валя молчит, но я вижу, что она очень взволнована. Она берет из

моих рук Надино письмо и долго вглядывается в неровные, написанные карандашом строчки.

– А от моей сестры мы так и не получили ничего, – тихо говорит она. – Тоже в Германию угнали…

Мы замолкаем. У каждого свое горе, у каждого своя беда. Темно в хате, только чуть мигает на припечке слабенький язычок пламени, чуть дышит маленькая коптилка. Кажется, никто не спит…

Утром мы готовимся к очередному маршу. Перед дальней дорожкой проводит с нами политинформацию подполковник Соломин. Он говорит:

– Линия фронта стремительно катится к нашей государственной границе. Враг уползает в свое логово…

Мы слушаем и думаем о том, как нам придется дальше отмеривать украинские версты по расхлябанной дороге. Что противник бежит – это хорошо, какие могут быть разговоры. А что мы шлепаем по колено в грязи, так чего же в том хорошего? Но ничего не попишешь! И мы выходим из села.

– Девушки, вот просвещайтесь, возьмите-ка цидульку! – говорит Подковка и бросает Вале свернутый треугольником листок. Мы с любопытством склоняемся над малоразборчивым почерком – торопился, видно, переводчик.

«Восточный фронт… октября 1943 года.

Моя дорогая золотая Ани!

Здесь вчера с батальоном я участвовал в бою у тяжелого пулемета. Мы должны все время предпринимать контрудары против этих проклятых русских, которые вообще не хотят ослабевать. Мы делаем все самое нечеловеческое, самое тяжелое. Я не знаю, буду ли завтра живым. Потому сегодня я должен написать тебе пару строчек. С большими трудностями я прибыл сюда и уже хочу еще раз иметь счастье снова поехать на родину, только чтобы посмотреть на мое хорошее золотое дитя и на мою жену. Но только господь-бог знает, увижу ли я вас еще когда. Я больше не имею надежды, так как мы здесь участвуем в тяжелых боях, днем и ночью боремся за отечество

и фюрера. Но я борюсь так же за мое золотое дитя, за жену, за всю мою семью, которая находится дома.

Да, дорогая Ани, летом мне жилось немного лучше, потому что было теплее. А теперь дуют холодные ветры и идут дожди. Нас оставили прикрыть отход крупных частей, и мы не спали уже трое суток. Нам надо задержать русских. Весь этот ад может понять тот, кто был здесь, на Востоке. Всюду свистят русские бомбы и мины, всюду слышатся пули. Моя рука с карандашом дрожит от разрыва бомб. Пиши мне все новости, которые есть на родине. Теперь я кончаю свое письмо с большими приветами и поцелуями. Па-па-па…, мое золотое дитя, спи счастливая. Иоганн».

– Ну как, девушки, падает тонус у противника? – спрашивает Подковка, забирая листок.

– Откуда это у тебя? – говорит Валя.

– Переводчик дал.

– А у него откуда?

– Да что с тобой сегодня: откуда, откуда? – удивляется Соломин. – Бойцы принесли, нашли у убитого. Есть еще вопросы? Ясно?

– Нет вопросов, – отвечает Валя.

Она молчит, но я догадываюсь, о чем думает эта маленькая хрупкая женщина, деревню которой сожгли дотла эти иоганны, гансы и как их там… О чем думает Валя? О том, наверное, о чем и я. Только говорить об этом не положено.

Но когда мы отстаем от бойцов комендантского взвода, и я жду, пока Валя, наконец, вытащит обеими руками из грязи свои сапоги, она, справившись со своей обувью, тихо говорит:

– А у него ребенок остался…

Я не отвечаю Вале. Ох, как долго нам еще идти. Уже осень. Что принесет нам зима 1944 года? Когда-то должно, в конце концов, все кончиться. Должны же мы победить их. А потом… Что – потом? Может быть, переучивать…

В редеющей роще становится зябко.

Падая плавно к солдатским ногам,
Листьев кленовых тонкие лапки
Доверчиво к кирзовым льнут сапогам.
Холодные лужицы небо вбирают –
Льдинки как зеркальца утром блестят.
Солдаты лесною дорогой шагают
И о победе они говорят.
Не всякий увидит, как огненной птицей
Красное знамя к небу взлетит –
Еще за победу нам биться и биться,
Но верят солдаты: враг будет разбит!
Летят ярких листьев большие охапки
И пестрая вьется, бушует пурга –
То листьев кленовых узорные лапки
Благословляют солдат на врага.

Глава 19
Кто дойдет, а кто…

Где-то в тридевятом царстве осталась девушка, которая очень любила осень. Она любила смотреть, как медленно кружится сорванный легким ветром желтый кленовый лист и неслышно подает на землю. Желто-зеленые, огненно-рыжие, оранжевые листья усыпают тропинку, шуршат под ногами. А над головой – ярко-синее холодное небо. И вокруг ясно, чуть прохладно и светло, только становится как-то зябко оттого, что медленно вянет все вокруг.

В даль-далекую ушла та пора, и нет больше той девушки, которая любовалась яркими красками. Все перечеркнула война.

Военная осень прошла всполохами деревенских пожаров, в грохоте орудийных залпов, в боях и нашем стремительном продвижении вперед, на запад. А где-то в дубравах, как в мирное время, летели с деревьев побронзовевшие листья, в лесной глухомани пламенели тяжелые гроздья рябины, а в садах падали с деревьев прохладные сочные яблоки. Только мы не замечали всего этого; может быть, и видели, только другие были у нас заботы и печали.

Шел 1943 год. Перелом в войне уже наступил, и наши войска гнали к государственной границе непрошеных гостей. Так на военных дорогах и промелькнула мимо нас та военная осень.

Уже стало подмерзать по утрам, и мы радовались, что появилась, наконец, хорошая дорога – не надо будет пешком вымеривать украинские версты с бесконечным «гаком», а можно «запрягать» громоздкие ворчливые «студебеккеры». Ехали мы в кузовах грузовиков. Машины, как укрощенные звери, яростно рычали, сердито подпрыгивая на ухабах – по-видимому, они были все-таки шовинистами, те заморские скакуны. Но мы потихоньку приучали их покоряться нашим украинским дорогам. Мы были терпеливы.

Разве можно придавать значение разным мелочам, если мы все

время продвигаемся вперед?! Мимо проплывают древние курганы, невесть кем и когда насыпанные, за спиной остаются чумазые хатки с неизменными вишневыми садочками. Гордые волей своей к жизни покачивают нам вслед голами сучьями фруктовые деревья. На пути то и дело встречаются извилистые, глубоко вырытые траншеи. Кажется, что вся земля изрыта окопами и словно бы заметно постарела она за эти годы – кого же украшают морщины, да еще такие глубокие?

К полудню земля обычно оттаивает, снова развозит дороги, и мы переходим на самообслуживание…

По-прежнему вместе с Валей мы испытываем свои сапоги «на прочность». Идем вдоль линии бывшего окопа полного профиля. Недавно здесь были люди.

– Вон и котелок кто-то оставил, – говорит Валя.

Я спрыгиваю в окоп и достаю из маленькой ниши, что вырыта в одном из отрогов – ни дать ни взять, печурка в стене русской печи – круглый, новенький, окрашенный сверху в защитный цвет солдатский котелок. И в наступлении нелегко приходится. Противник еще пытается контратаковать, и мы вынуждены рыть эти длинные глубокие извилистые траншеи. Я поворачиваю в руках новенький котелок и думаю о солдате, который оставил его. Не бросит солдат котелка просто так – за здорово живешь. Значит, не нужен уже тому солдату котелок.

– А у немцев не такие, – говорит Валя. – У них плоские, высокие, чуть вогнутые, чтоб удобно было на боку таскать. Да, Лиляна?

Я рассеянно киваю ей. Какая же она маленькая, эта Валя, хоть и замужем. И рассуждает-то как девчонка, и сама такая беззащитная. Вон и волосенки, светлые, прямые, детские совсем, выбились из-под пилотки.

Осторожно, точно это что-то очень хрупкое, тянусь, чтобы поставить котелок на бруствер окопа.

– Ты чего так расстроилась? – удивляется Валя.

– Да вот, котелок…

– Ну и что? Чудная ты, Лиляна. Столько раненых видела, а тут… На тебе – котелок…

И в самом деле, почему? Почему так бывает, что мы можем объяснить себе причину большой беды, находим в себе достаточно сил, чтобы пережить горе, а вот такие мелочи, вроде котелка этого, потрясают?

– Эй, сестрицы, какие вы там трофеи откопали? Поделиться не забудьте, – кричит знакомый штабной шофер, догнавший нас на своем грузовике.

– Котелок нашли, – ответила Валя и, подхватив его за дужку, понесла к машине. Возьмите.

– Вот еще, – присвистнул шофер. – Если бы в нем содержимое имелось с градусами, а то…

Водитель, широко размахнувшись, швырнул котелок подальше от дороги и, снисходительно поглядев на нас, бросил:

– Поехали!

Мы вскарабкались в кузов, где сидели несколько офицеров и солдат. Двое уступили нам лучшие места.

– Едем по бывшей «нейтральной полосе», – ни к кому не обращаясь, говорит чернявый лейтенант.

В два ряда тянутся по полю ящики с противотанковыми минами. Поле еще не разминировано. Дорога становится опасной. Да и ехать тоже стало труднее – то и дело впереди именно на дороге рвутся снаряды.

– Садит, проклятый, прямо по колесам, – тоскливо говорит чернявый лейтенант. Все молчат. Есть такая фронтовая примета: молчи больше, смерть не услышит твоего голоса, облетит стороной. Когда совсем неподалеку разорвался на дороге снаряд, шофер остановил машину, и мы кубарем скатились вниз. Дальше надо пешком. Чернявый лейтенант оказался длинным, нескладным. Он первым ступил на обочину дороги и, словно аист, высоко поднимая ноги, зашагал по зеленеющей озими. Мы все, человек десять,

потянулись вслед. Дорога сильно петляла, и мы надеялись несколько сократить расстояние. Выигрывали, правда, самую малость – и на этом поле тот же разжиженный чернозем хлюпает под ногами, так же по щиколотку утопают ноги, так же трудно оторвать от земли сапоги с налипшей на них грязью.

– Стой! Назад!

Долговязый лейтенант нервно вскинул руку и всем корпусом отшатнулся назад, словно увидел на земле что-то страшное. Потом он, не сходя с места, согнувшись почти вдвое, долго вглядывался в зеленеющую озимь. Наконец, лейтенант выпрямился, очень осторожно, переступая с ноги на ногу, обернулся к нам, и мы увидели, что лицо его сделалось серым, осунувшимся.

– Все слушай меня! – выкрикнул он охрипшим голосом. – Каждый осторожно, на месте, повернись назад и шагай след в след, не сходя в сторону. Мы на минном поле.

– Ой мамочки, – всхлипнула Валя.

– Мины противопехотные, – снова предупреждал лейтенант. – Внимательно смотрите под ноги.

Мы ступаем очень осторожно, стараясь во что бы то ни стало не задеть тоненькие проволочки, заржавленные усики которых торчат в озими. Когда долговязый лейтенант, замыкавший шествие, шагнул на дорогу, все облегченно вздохнули. Валя снова тихонько ойкнула, а я почувствовала, что начинаю противно так – мелко-мелко – дрожать. Но никто ровно никакого внимания не обратил на наши «эмоции».

Размешивая сапогами и без того жидкую грязь, двинулись мы по обочине дороги, не решаясь больше сворачивать с нее. Мужчины наши оказались на сей раз не очень-то внимательными, и мы с Валей скоро заметно отстали. Где-то неподалеку от минного поля, по которому мы только что изволили прогуляться, осталась наша машина. Куда ей по такой грязище! Одним лишь вездеходам-виллисам, да разве «по четыре» под силу преодолеть это бездорожье. Одна надежда на собственные солдатские ноги.

Чавкает жирный украинский чернозем, тянется за подошвами

сапог. Уходят силы. Кажется, присел бы на пенек какой и не вставал бы. Но и пеньков никаких не видать. Только за спиной скрипит телега. Работяги-лошади стригут ушами, надрываются, а все же тащат тяжеленные армейские повозки.

– Подвезти, что ли, сестрицы?

Повозочный с бледным худым лицом (видно, совсем недавно из госпиталя) выжидающе глядит на нас.

– Да ведь тяжело лошадям-то, – неуверенно тянет Валя.

– Ничего, выдюжат. И дорога вроде бы получше становится, – отвечает солдат.

Он придерживает лошадей и ждет, когда мы переберемся через колею, залитую липким разжиженным черноземом. Я подталкиваю Валю к повозке и чувствую, что не догнать мне наших штабников, которые ушли вперед. Мне предстоит идти одной. Но Валя должна обязательно ехать. Она не выдержит и километра такого пути. На лице ее полнейшая растерянность.

– А как же ты, Лиляна?

– Поезжай, догоню, – храбрюсь я, подсаживая Валю, и забочусь только о том, чтобы не увидела она моих глаз.

Хлопнули ременные вожжи по бокам лошадей, и повозка, покачиваясь и ныряя по ухабам, стала медленно удаляться. Я провожаю ее глазами и… И шагаю одна. Мне горько и досадно. Почему-то вспоминается оставленный кем-то в окопе новенький солдатский котелок. Точно такой, из какого когда-то мы с Клавой вместе ели кашу. Это было бесконечно давно, еще в медсанбате. Где тот медсанбат, и где моя курносая Клава, влюбленная в генерала? В генерал-майора Борисова, Владимира Викторовича. Догадывается ли Клава, насколько сложен и непонятен этот человек? Теперь мне приходится довольно часто видеть его, но мне не под силу разобраться в его характере, непонятно и его поведение.

Валя (ох уж эта тихоня!) часто заводит разговор о Борисове. Рассказывала как-то о том, что когда Подковка спас ее и не захотел больше расставаться, то у него с командиром дивизии был очень

серьезный разговор. Борисов был против их фронтовой женитьбы. Он советовал майору Соломину отправить Валю в тыл. Борисов будто сказал Подковке, что случись с ним что-нибудь подобное, – все мы люди! – он ни за что бы не сказал об этом женщине. Нельзя, чтобы здесь, на фронте, любовь отвлекала от дел. Он, Борисов, считает, что как ни говори, а женщины мешают воевать. Словом, что-то в этом роде… Значит, он запретил бы себе и думать…

А я не верю! Если любишь, то уж никак не запретишь себе думать. Хороша любовь, которую можно держать в клетке – захотел и выпустил на волю: лети, а не захотел – сиди, миленькая, под замком. Любовь ли это? Просто не встретил он еще ту, которую назовет женой. Будет у него еще и семья, будет и личное счастье. Сколько ему лет? Тридцать восемь, от силы – сорок. Значит, если жив останется, все еще будет. Не на фронтовых же дорогах встречать такому человеку свою любовь. А почему, собственно, и не на фронте?

…Ну, хорошо, Лиляна, а тебе-то какое дело до всего этого? Ты здесь причем? Идешь по дороге и иди, подними-ка лучше воротник шинели, а то течет за шиворот. Вояка! Кто бы посоветовал тебе захватить плащ-палатку. Горничная не доглядела за паненкой. Рассчитать ее надо, горничную… Шагай-ка пободрее, философ в заляпанной шинели.

Чавкает дорожная грязь под ногами, снова скрипит за спиной телега, запряженная такой же парой лошадей, как и те, на которых уехала Валя. Я молча отхожу к обочине дороги. Просить подвезти не позволяет совесть – разве не видно, как устали лошади?

– Садись, что ли, – хмуро бросает мне повозочный, поравнявшись. – Ну?

Какие-то секунды я колеблюсь, но, по всей вероятности, выгляжу несколько похуже знатной панны, отправляющейся с визитами, – потому повозочный и придержал лошадей.

– Садись, тебе говорят. Упрашивать вас тут еще…

Потоптавшись на месте, я решительно шагаю к повозке и взбираюсь на «облучок».

– Под плащ-палатку прячься, – советует мне повозочный. – Не стесняйся. Сама-то, откуда будешь?

– Из Белоруссии.

– Я мы – рязанские. Слыхала, поди, Рязань?

– Вроде бы, – усмехнулась я.

Искоса разглядываю лицо этого доброго человека. Обыкновенное, широкоскулое, с голубыми точками – следами порохового взрыва, похоже оно на многие лица солдат, которых я вижу каждый день. Только таких «крапленых» лиц не приходилось мне видеть. Ну и счастлив же ты, солдат, если после такого «крапления» глаза у тебя целыми остались… Чем-то напоминает мне повозочный Василия Ивановича, который когда-то подобрал меня, полузамерзшую эвакуированную девчонку, и приютил в своем колхозе. Видно, схожи чем-то лица добрых, сердечных людей.

– От такой погоды хорошо бы под крышу да на печь, – ворчливо говорит повозочный.

– Да чарку, – подсказываю я.

– Чарку, говоришь? Это – ничего. Да не мне… Отпивал я свое. Было да сплыло, чарка-то.

– Болеете?

– Покорябал немец мне не только личность, а и требуху. Еле залатали доктора. В строй уже не годен, а в повозочных гожусь еще.

Видно, раньше здоровый был мужик, износу не было бы. И то хорошо, что выжил.

– Да накройся ты как следует, – сердится повозочный, – тяни, говорят, плащ-палатку на себя. Простыть можешь.

Я несмело подтягиваю к себе потемневшую от дождя накидку.

– Дома бы тебе сидеть, а ты туда же – на войну. Без тебя здесь не управятся. Не женское это дело война, – сердито говорит этот солдат с «крапленым» лицом.

Я молчу. Сама знаю, что война – не женское дело. А если надо? Кто теперь разберется, какое дело женское, а какое нет. И у станка по двенадцать часов стоять, и плуг вместе с запряженной в него коровой

тянуть, и в разведку идти в тыл к врагу. Все вроде не женское дело, а приходится. Надо, потому и делают все это женщины. Но говорить вслух об этом не стоит. Он и сам все знает, мой добрый спутник.

– Тпру-у-у-у, бедолаги, – останавливает повозочный лошадей.

– Что случилось?

– Машину, вишь, занесло. Помогать надо, – устало говорит солдат и направляется к людям, которые топчутся у маленького, крытого брезентом вездехода. Задние колеса «виллиса» почти повисли над кюветом. Я гадаю, по каким законам физики не скатилась еще туда машина. Среди суетящихся, колдующих у «виллиса» людей мелькает очень знакомое лицо. Капитан вместе с солдатами с силой налегает на бревно. Еще усилие, и вездеход на дороге. Я вижу, как широким жестом капитан смахивает пот со лба.

– Аркадий Петрович!

Мой бывший политрук оглядывается, быстро вытирает влажной травой испачканные руки и, легко перепрыгивая через грязную колею, шагает ко мне.

– Вот так встреча! – удивляется он. – Лиляна Орлович. Какими судьбами? Медикам вроде рановато здесь быть.

– То медикам, Аркадий Петрович, а я теперь при штабе.

– Любопытно. Расскажи-ка.

– Да что рассказывать? Долгая история.

– А ты покороче. Конспективнее.

Он ничуть не изменился, политрук Жемчугов, с тех пор, как ушел от нас. И в званиях не шагнул, и наградами не богат. Он – просто делает свое дело, и все. За это он и нравится мне. Да и не мне только. Не чины для него главное, а работа, люди, которых он воспитывает. Но, поди-ка, намекни ему об этом, о наградах да о званиях. Представляю, какие бы ехидные глаза сделал, да так отчитал, что и до смерти не забыла бы. В заляпанной грязной шинели, усталый, стоял он передо мной, обыкновенный армейский капитан-политработник, каких тысячи можно встретить на фронтовой дороге. Да, внешне такой, как все. А вот встретила его, и сразу стало

на душе спокойно, и даже вроде само небо не так хмуро теперь глядит.

– Ну, так рассказывай, Лиляна, что с тобой приключилось?

– В составе наших войск продвигаюсь вперед, на запад.

– Это, допустим, уяснено, – не принял моего выпада Аркадий Петрович.

Мне очень многое надо рассказать моему бывшему политруку, но времени у нас так мало, что я не знаю, с чего начать. Сбивчиво говорю о событиях сегодняшнего дня, о том, как набрели мы на минное поле.

– Случается, – спокойно говорит Аркадий Петрович, – но меня интересует другое – что сейчас волнует Лиляну Орлович, над чем она раздумывает?

– Вам бы все шутить, товарищ капитан.

– Не сердись. Рассказывай. По глазам вижу – много разных «почему» накопилось у тебя.

Чтобы не очень-то возгордился мой бывший политрук своей проницательностью, я умышленно начинаю не с «почему», а завожу речь о том, как несколько месяцев тому назад перевели меня в штаб дивизии и приказали стать машинисткой. По сравнению с тем, что делала я в медсанбате, теперешняя моя работа – сущие пустяки. Конечно, здесь тоже свои трудности – в медсанбате не пришлось бы мне, например, в «гордом одиночестве» измерять украинские версты. Но дело не в этом. Здесь чувствую я себя какой-то неприкаянной и не очень-то нужной.

Аркадий Петрович соглашается, что я, действительно, не сразу схожусь с людьми, но тут же успокаивает меня, утверждая, что дело поправимое. Мне становится досадно, что он вроде бы и не сочувствует, все для него просто.

– Значит, скучаешь по медсанбату?

– А как же? Там – как дома. Все свои.

– И в штабе дивизии не надо считать себя гостьей. Кто-то и машинисткой должен работать. Служить надо, Лиляна.

– Все это говорите вы потому, что положено вам так говорить. Должность у вас такая. А сами, небось, тоже скучали по медсанбату. Скажите, нет?

– Скучал, – признается Аркадий Петрович.

Потом он рассказывает о своей новой работе. Не вдаваясь в подробности, а наметками, пунктиром. Но я понимаю своего бывшего политрука с полуслова. Новая работа в политотделе армии требует больших сил и энергии. Видно, трудности у Аркадия Петровича не только в том, что приходится постоянно разъезжать по воинским подразделениям. Конечно, сталкиваешься с разными людьми. Зная предельную искренность этого человека, понимаю, что приходится общаться и с «дубами», и очень плохо бывает, коли «дуб» занимает высокое положение; а особенно плохо, если «дуб», на беду, оказывается политическим работником. Обо всем этом Аркадий Петрович не говорит мне, конечно, но разве это и без слов не ясно?

Заметно постарел Аркадий Петрович, осунулся. И усталость на лице, и сединки на висках. Все-таки почему высокое начальство не ценит таких, как он? А ведь из всех политических руководителей, которых приходилось мне встречать, этот человек – самый лучший. Запомнилось, как некоторые и в штабе дивизии, и в политотделе о чуткости к простому человеку глаголили, а когда приходилось им сталкиваться с «простым винтиком», то оставались к «винтику» этому глубоко равнодушными. А вот Аркадий Петрович не такой. И разница между ним и теми, некоторыми, что они мыслят о воине вообще, а Аркадий Петрович об отдельном человеке заботится. А почему все так не поступают? На это я хотела бы получить ответ. Но Аркадия Петровича, пожалуй, неудобно об этом спрашивать. Значит, на одно из своих «почему» я пока не получу ответа.

– О чем, солдат, задумался? Что молчишь?

Я торопливо рассказываю историю Васильченко о том, как по какому-то заявлению внезапно освободили капитана от должности секретаря первичной партийной организации, как обвинили его в национализме.

– Я прихожу к страшным выводам, Аркадий Петрович.

– Глупости говоришь! Девчонка! Пора бы поумнеть, – сердится он. А потом, успокоившись, начинает терпеливо разъяснять мне:

– Надо только понять одно, что те, кто решал судьбу Васильченко, как небольшого, но уже партийного руководителя, могли заблуждаться. Помни одно: партия не ошибается. Могут ошибаться отдельные ее члены, и то, если они на какое-то время по каким-то причинам выпадают из-под контроля партии. Ленина надо читать, дорогая.

Что же касается Васильченко, то это нашумевшая история. И, если хочешь знать, именно ваши штабные офицеры-коммунисты взяли его под защиту.

– Кто же оказался таким смелым? Если нельзя говорить…

– Тебе скажу. Это – начальник штаба дивизии Соломин и командир дивизии Борисов.

– Борисов?

– А что? Именно он писал рапорт члену Военного совета с просьбой оставить Васильченко в прежней должности.

Клюк-клюк… чавк-чавк… – пришептывает под нашими сапогами размытая украинская дорога. Извергая фонтаны брызг, догнал нас «виллис», на котором ехал Аркадий Петрович. В машину набилось столько народу, что обоих нас забрать она не может. Аркадий Петрович отсылает «виллис» и самоотверженно делит со мной тяжесть перехода. Вот у него бы поучиться нашему начальнику политотдела. А то он, наверное, за всю войну ни разу не прошелся пешочком.

Я иду рядом с Аркадием Петровичем и думаю о том, что и у него есть свои «почему». Интересно только, кто ему на те «почему» отвечает? А ведь есть и такие. Есть! Эх, Лиляна, а ты уже и нос повесила…

– Ну что, солдат, задумался?

– Да так… Вы всегда именно таким образом и спрашиваете, – улыбнулась я и слегка передразнила: – «солдат»…

– Замерзла?

– Не очень.

– Давай-ка руку…

И Аркадий Петрович, по-молодому озорно сверкнув глазами, схватил меня за руку и размашистыми шагами побежал по лужам, по грязи, вдоль обочины извилистой дороги.

– Постойте! Хватит! – взмолилась я.

– Не разговаривать! Слушаться старших!

Мы отмерили таким образом добрый километр, пока я, действительно, не согрелась.

– Вот теперь добре, – улыбнулся Аркадий Петрович. – Старинное солдатское правило: замерз, значит – бегом!

Мы снова ворошим фронтовые будни, и я вспоминаю о том, как утром была на волосок от смерти.

– Смерть… – задумчиво говорит капитан Жемчугов. – Очень невероятной она кажется. Никогда с ней нельзя примириться. Ты не задумывалась, почему?

– Может быть, потому что мы молоды. Нам просто невозможно представить себе, что вот эти руки твои, которыми ты волен вертеть, как хочешь, что ноги твои, которым – приказал, и понесут тебя в любую сторону, все перестанет тебе повиноваться, что навсегда все исчезнет для тебя…

– Следовательно, хочешь ты сказать, что молодость и смерть несовместимы.

– Конечно. Может быть, я цитирую кого-нибудь…

Аркадий Петрович не ответил, он долго шагал молча, а потом, словно отгоняя что-то от себя, сказал:

– А знаешь, Лиляна, умирать по сути дела не так уж, должно быть, и страшно. Один только миг – и все. Но жить так хочется. Хочется знать, что потом будет.

Мы заговорились и не заметили, как догнал нас грузовик.

– Эй, с дороги! – закричали нам. – Лиляна!

– Наши! Едемте, Аркадий Петрович?

– Конечно.

…Аркадий Петрович спрыгнул у развилки дорог и повернул в сторону, по проселочной дороге. Я глядела ему вслед до тех пор, пока чуть сутуловатая, без особой офицерской выправки, почти штатская фигура нашего бывшего политрука не скрылась из виду.

Машина ныряла по ухабам, все мы, промокшие и усталые, думали о каком бы то ни было, но отдыхе, о любой, пусть даже дырявой, но крыше над головой. И все мы очень обрадовались, когда впереди неясными силуэтами стала вырисовываться какая-то деревенька, но…

– Стой! Куда тебя несет?!

Потом последовал вопрос, где у шофера глаза и прочее, и все для прочности закреплялось торопливыми «вескими словами», с упоминанием о родительнице…

Вопросы и краткие комментарии по поводу моральных и физических качеств нашего шофера и ехавшего рядом с ним офицера принадлежали какому-то сержанту.

– Поворачивай назад, корова!

– А что там такое? – невозмутимо спросил офицер, приоткрывая дверцу кабинки.

– Ж-жи-жик… – пропели несколько пуль.

Вот это вполне понятно. Шофер моментально стал разворачивать машину, а мы, как горох, посыпались на землю, и кто куда – назад по дороге или в кювет.

Машина, вихляясь и подпрыгивая, набирала скорость, мы изо всей силы старались не отстать. Вдогонку просвистело еще несколько пуль.

– Что случилось?

– Да ничего особенного. Просто на передовую занесло. Эту деревушку утром наши заняли, а потом, оказывается, немцы ее обратно отбили, – пояснил офицер.

Кто-то начинает ругать шофёра, но тот отмалчивается, не желая ставить в неловкое положение ехавшего с ним офицера.

Смеркается. Мы возвращаемся к той развилке дорог, где спрыгнул Аркадий Петрович. Здесь машина при подъеме на горушку упрямо забуксовала.

– Приехали, – проворчал кто-то.

– Помогать надо, – не допускающим возражения тоном приказывает водитель. Здесь он главный.

– Уразумели, – беззлобно откликнулись из кузова.

– Вы, девушка, сидите, – предупредил меня офицер. – Быстро садиться придется, да и весу в вас не так уж много.

– Всего лишь с центнер, – отшучиваюсь я, спрыгивая вместе со всеми в грязное месиво.

Мы начинаем энергично подталкивать грузовик. После немалых усилий машина, наконец, вняла нашим мысленным мольбам и проклятьям вслух и, точно черепаха, медленно поползла в гору, сердито и надсадно урча. Мы терпеливо зашлепали вслед. Грузовик едва ползет, потом остановится, постоит немного, словно раздумывая, застрять ему в этой грязюке или уж, так и быть, продвинуться еще несколько метров. Потом он, точно упрямое животное, снова начинал показывать характер и, наконец, в одной уютной колдобине так устроился, что шофер даже приглушил мотор.

– Не пойдет дальше, – устало говорит шофер.

– Толкай, ребята! – крикнул кто-то, и все мы снова дружно налегли плечами.

– У-у-у-у-у, – затравленным волком выла машина и не двигалась с места.

– Р-р-раз, два-а-а, взяли! – спорили мы с ней.

– Еще раз, взяли!

– У-у-у-у-у, – не сдавалась машина. Она злилась, задыхалась, чихала, фыркала, но не двигалась с места.

– Раз-… эдакую, – вполголоса ругался кто-то.

– Спокойнее, здесь женщина.

– Женщина-женщина, – ворчал тот, кто помогал себе крепким словцом. – Раз попала она в вагон курящих, то пусть уж терпит до

конечной остановки.

Кто-то хохотнул. Но я не обиделась. По-видимому, не до этикета этим заляпанным грязью, промокшим насквозь людям.

– Не пойдет дальше, – упрямо, даже с некоторым торжеством, твердил шофер. – Не пойдет!

Но она все-таки пошла, наша машина, через час или больше. Она привезла нас поздно вечером в деревеньку, которую переполнили наступающие подразделения второго эшелона нашей дивизии. Грязные, промокшие, усталые и голодные, ввалились мы в хатку. Ничего не хотелось, кроме как усесться бы где-нибудь в уголке и подремать. Разыскивать кухню и думать о еде ни у кого не было сил.

Кто-то протянул мне полсухаря, облепленного крошками табаку. Я очистила его и с удовольствием проглотила. Потом со мной поделились клочком соломы. Это совсем хорошо. И я уснула на земляном полу сном праведника.

На утро следующего дня Валя растолкала меня.

– Вставай, засоня! Едва отыскали тебя. Вчера Васильченко пошел сам за тобой, но увидел, как ты уютно устроилась, даже соломки подослала, и пожалел будить.

– Ну это, положим, он – зря.

– Не знаю… – отмахнулась Валя. – Но видела бы ты, как он одним пальцем печатал оперативную сводку. Вот потеха была!

Мы снова вместе с Валей плетемся за нашими штабниками. Проходим по местам прежних боев. Они только что закончились. Дымятся остатки немецкого грузовика, еще не развеялся запах гари, пахнет сгоревшей взрывчаткой, виднеются чьи-то грязные следы на вдавленных в землю дощечках – остатках ящиков от снарядов; валяются неубранные трупы в грязно-зеленых шинелях. Кое-где можно заметить и серые шинели, но серых теперь намного меньше. Мы наступаем.

– Наш, – шепотом говорит Валя и глазами показывает на солдата, который лежит, запрокинув голову, разбросав руки, глядя невидящими глазами в серое дождливое небо. Рядом с ним стоит

котелок с недоеденной кашей. Даже ложка осталась в том котелке. Неподалеку – его товарищ в позе человека, желающего сделаться как можно меньше, как можно меньший занять объем: голова втянута в плечи, сам сжался в комок и словно бы к чему прислушивается.

– Видишь, – мысленно упрекнула я себя, – а ты философствовала: котелок, да кто ел из него? Вот такие и ели…

Мы долго идем молча. Я замечаю, что Валя чем-то особенно озабочена. На лице у нее и растерянность, и радость, и даже гордость, а в глазах тревога. О чем это она? Но не стоит спрашивать человека, если он сам не решил еще говорить или нет о том, что его волнует.

…Поздно вечером, когда мы с ней лежим рядышком в полуразрушенной хибаре и до нас доносится богатырский храп штабников, которые «прикорнули», ожидая где-то задержавшегося начальника штаба, Валя на ухо доверяет мне свои тайны: у них будет ребенок – это первая тайна. И вторая – они с мужем едут в Москву. Подполковника Соломина откомандировывают на учебу, в Академию Генерального Штаба.

Им-то хорошо. А как же я? Ох, и трудно будет мне без Вали. Я горячо поздравила Валю, а сама все думаю: а как же я? а как же я?

…А неподалеку порывистый ветер стучит обломками досок, которые остались от взорванного мостика. Мне видится, как судорожными усилиями, словно живые существа, цепляются эти обломки за сваи, висят на нескольких ржавых гвоздях и скрипят-раскачиваются, тянут за душу…

* * *

Зима пришла как-то незаметно. В прохудившейся стылой хатенке встретили мы 1944 год. Неутомимый марш-бросок вперед, на запад, был началом нового года. Из калейдоскопа событий этого времени врезался в память мне один эпизод:

Дул сильный ветер, вьюга завывала,
Мы мчались на штабном грузовике.

Неподалеку выло, грохотало –
Летала смерть через холмы к реке.
Мы ехали разрушенной деревней
Сквозь мертвые сады сожженных вишен,
И мне казалось, шепчут все деревья:
– Здесь снова будет сад… Ты слышишь?
В прошитую осколками избушку
Зашли погреться мы хотя б немного.
Навстречу вышла робкая девчушка,
По-взрослому укутанная строго.
Косынкой марлевой подвязанную руку
Держала по-солдатски, вниз ладошкой.
От громких голосов и стука
Она испуганной казалась мне немножко.
Я с нею говорила очень мало,
Но как же из рассказа не понять,
Что от фашистов девочка бежала,
Искала и звала в испуге мать.
А выстрелы пастушьими кнутами
Все хлопали. И стон и крик стоял…
Солдат один помог добраться к маме,
Ручонку ей бинтом перевязал.
И образ этой маленькой девчонки
Через войну я бережно несла, –
Мечтала, чтобы весело и звонко
Смеяться девочка всегда могла.

Не ахти-то какими блестками поэзии отличаются мои стихи. Это я сама знаю, потому и не показываю их никому. Только Вале иногда, под настроение бормотала я свои опусы.

Мне хотелось написать о девочке, которая спит сейчас за тоненькой дощатой перегородкой. Она давно успокоилась, нашла свою маму и уже не плачет, когда я перевязываю ее раненую

ручонку.

Валя уехала. В штабе толкаться без дела не хочется. Но скоро надо будет печатать оперативное донесение. Значит, следует собираться и идти.

У штабной избы встречаюсь я с командиром дивизии. Генерал-майор Борисов хмуро ответил на мое приветствие и, продолжая разговор с новым начальником штаба, которого прислали вместо подполковника Соломина, уехал. Значит, и всем нам скоро переезжать.

Озабоченный, хмурый, осунувшийся, командир дивизии стал совсем непохож на того Борисова, которого видела я под Сталинградом, летом на подступах к Днепру и даже не так давно – ранней осенью. Тогда он разговаривал со мной, даже шутил, задавал смешные вопросы, на которые я не знала, как и отвечать. А вчера вечером, когда я под диктовку капитана Васильченко печатала оперативную сводку и между делом этот шутник капитан рассмешил меня чем-то, вошел командир дивизии. Он рывком открыл дверь. Мы встали, приветствуя его. Холодным взглядом скользнул он по лицу Васильченко, а потом посмотрел на меня. Испытующе. Холодно. Чуть прищурясь. О чем-то спросил Васильченко, повернулся и ушел.

Вот и теперь таким же взглядом посмотрел он, когда я прошла мимо.

Когда я вошла в избу, Васильченко уже ожидал меня. Он выскочил из-за стола и, улыбаясь, шагнул мне навстречу. С какой-то шуткой взял у меня шинель, повесил ее на гвоздик у двери и широким жестом пригласил к машинке. Смеркалось. Капитан зажег лампу и стал диктовать. Иногда он задумывается, отыскивая более удачную формулировку, я поднимаю лицо и вижу темные прищуренные глаза капитана, смуглые щеки. Васильченко напоминает мне куперовского героя.

Когда деловая бумага написана, напряженный острый ирокезский взгляд пропадает, и капитан превращается в веселого украинского парубка, который вот-вот отколет какую-нибудь шутку.

Он встает из-за стола, поднимает руки и достает до потолка.

– Ну и хатки украинцы эти строят, – придирчиво оглядывая избу, замечает он.

– Конечно, с готовностью подхватываю я. – У вас во Франции несколько иная архитектура.

– Точно так же, как и у вас в Италии, – пытается отбить мой мяч капитан, но удар оказывается слишком слабым.

– Ворчим все, ворчим… – замечаю я.

– Для формы. Годы как-никак сказываются.

– Логично, – поспешно соглашаюсь я.

– Зато друзья у меня помоложе. Козырев, например.

Кажется, в нашем словесном поединке счет сравнялся. Продолжать разговор о Козыреве никак в мои планы не входит. Но капитан Васильченко, словно по уговору с кем-то заинтересованным, в который раз начинает посвещать меня в подробности биографии помощника начальника политотдела по комсомолу. Мне уже известно, что Геннадий Козырев – кладезь всех совершенств. Он – романтик, успел побывать в Заполярье, работал там радистом. Любит спорт – хороший лыжник, неплохой пловец.

Васильченко чувствует, что мне не очень-то хочется слушать подробности биографии Козырева, но он пользуется своим положением старшего и суховатым тоном напоминает, что через полчаса следует печатать очередное донесение, и потому я должна несколько задержаться. Капитан усаживается поудобнее за стол, правда, при его дяди-Степином росте это удобство относительное, – и продолжает распространяться о козыревских достоинствах. Сегодня в программе – скромность Геннадия и другие положительные качества его характера. Я с почтительной миной выслушиваю сентенции Васильченко, а потом с нескрываемым ехидством осведомляюсь:

– Если не секрет, сколько платит фирма «Г. Козырев» своему поверенному?

– Неплохо было бы, – как ни в чем не бывало отвечает капитан, – если бы фирма платила за каждую политбеседу полновесной

фляжкой. Но тут допущена одна неточность: мы компаньоны…

– Разве? – искренне удивляюсь я.

– Верное слово: компаньоны, – скромно уточняет Васильченко и, блеснув глазами, делает выпад: компаньон не прочь бы стать и конкурентом…

– А вы не находите, капитан, что это несколько смахивает на…

Я хочу сказать: «на пошлость», но дисциплина и субординация удерживают меня от дерзости. Я отлично знаю, что со стороны Васильченко – это просто не очень удачная шутка.

Капитан отлично понимает меня и ссориться со мной он не намерен, а потому Васильченко простодушно откликается:

– Где уж нам, необученным.

– Козырев… Козырев… – наступаю я, – только и слышишь от вас. Поди, стерлась пластинка-то. Пора бы и сменить…

– Сменить? – сверлит меня глазами капитан. – Конечно, вам это виднее.

– Да не о том хотела сказать, – путаюсь я.

– Ах, не о том, – тянет Васильченко.

– Товарищ капитан, мы, кажется, теряем время. Я вас слушаю, – официальным тоном говорю я, усаживаясь за машинку.

– Слушаюсь, товарищ начальник, – иронически отвечает Васильченко, пододвигая табурет. Лицо его становится строгим и…

– Стук-стук-стук, – отзываются клавиши пишущей машинки на слова капитана. Ничего лишнего. Возникает еще одна строка великой книги о нашей победе…

Где-то летает самолет. По звуку слышу – тяжелый бомбардировщик. Последнее время противник ночью беспорядочно бросает бомбы. Совсем близко слышится противное:

– Везу-у-у-у…

Я прислушиваюсь.

– Не отвлекаться, – спокойно советует капитан.

Где-то совсем неподалеку упала бомба, наша лампа-гильза вздрогнула и закачалась. Васильченко придержал ее рукой и

продолжал диктовать. Он ведет себя так, словно все, что происходит за стенами этой штабной избушки, сейчас его не касается. Через сенцы работают радисты. Я слышу монотонный голос:

– Ромашка, ромашка… Я – роза. Как слышишь меня? Прием.

И снова:

– Ромашка, ромашка…

Звонит телефон. Это Геннадий Козырев. О чем говорят «друзья-компаньоны», я не вслушиваюсь. Меня занимает одно: вернется снова бомбардировщик или нет?

Вернулся-таки. Совсем рядом, совсем над головой – снова его протяжный, надсадный гул. И снова…

Бомба взорвалась рядом. Звенят осколки стекла, трещит глинобитная стенка нашей хатенки, сыплется штукатурка, взрывной волной смахивает со стола лампу-гильзу. Я пытаюсь удержать ее, но телефонный аппарат больно бьет меня по рукам. Темно. Кто-то стонет. Капитан? Нет. Он возится в темноте, отыскивая лампу.

– Где ваш фонарик, товарищ капитан?

– В шинели. Поищи в кармане.

Я нащупываю у двери шинель и извлекаю фонарик. Снопик света выхватывает из темноты коробку телефонного аппарата, который свисает со стола и раскачивается на проводе словно маятник, мне надо найти лампу, и я ползаю под столом, заглядываю под деревянный диванчик. Наконец-то!

Снова звонит телефон, капитан спокойным голосом докладывает (по-видимому, начальнику штаба), что рядом взорвалась бомба. Нет, у нас все в порядке, только взрывной волной окно выбито. Да, переезжать готовы.

– Быстренько, товарищ Орлович, бегите за своими вещичками, – приказывает капитан. – Через полчаса выезжаем.

Я на ходу надеваю шинель и мчусь через сенцы. Споткнувшись обо что-то, с размаху падаю. Руки мои нащупывают что-то теплое, липкое… Я кричу не своим голосом:

– Товарищ капитан!

Васильченко и радисты выскакивают на мой крик. Кто-то приносит в сенцы лампу. Оказывается, это часовой, охранявший штаб. Мы осторожно приподнимаем обмякшее тело, и я пытаюсь установить, дышит ли этот человек.

– Медицинской помощи не трэба, – тихо говорит Васильченко и приказывает радистам вынести труп. Они несут убитого, и один из них философствует:

– Чуть-чуть бы той бомбочке дальше хлопнуться, и сказал бы я батьке своему покойному – «здравствуй!»

– Замолчи ты, балаболка! – сердится его товарищ.

…Через некоторое время мы уже в пути. Ночь перешагнула за половину. Брезжит на востоке. Мы едем быстро. Мороз основательно укрепил дорогу, но мало еще снега, и нас сильно подбрасывает на ухабах.

Медленно светает. Уже можно различить стерню вдоль дороги, белеет снег, задержавшийся на сжатом поле. Рядом длинный извилистый овраг. На горизонте темнеют одинокие деревья. Впереди катит «виллис». Он оторвался от нашего грузовика на значительное расстояние, но наш шофер почему-то решил не упускать ту машину из виду.

– Здесь осторожнее бы, – думает вслух Васильченко. Он сидит рядом со мной, а в кабине – новый начальник штаба дивизии. Нам это нравится: высокое начальство не отрывается от масс…

Я не могу взять в толк, почему это надо здесь быть особенно осторожными, и тихонько спрашиваю об этом капитана. Он объясняет, что дорога только что отбита у противника, она очень стратегически важна как для нас, так и для врага, и потому не исключается попытка со стороны противника вернуть эту дорогу.

«Виллис», кативший впереди нас, заметно стал отрываться. Это хорошо – не следует по фронтовым дорогам машинам идти близко одна от другой.

Только успела я подумать об этой всем известной истине, как впереди нас взметнулся высокий земляной столб и… закрыл собой

юркий «виллис».

Когда мы подъехали, оказалось, что вряд ли кому здесь уже нужна помощь. Но я спрыгнула на дорогу и бросилась к людям, в которых, как мне хотелось верить, может еще теплиться жизнь. Таких осталось двое. От остальных… Нет, не могу я и сейчас воспроизводить в памяти то, что тогда увидела… Слишком страшно все это.

Я нагнулась над лежавшим у дороги человеком, торопливо хватая за руку. Пульса не было. Потом разглядела совсем маленькую ранку у виска. Понятно… Но, может быть, хоть другой дышит?

Другой… Это был офицер с погонами майора. Он лежал навзничь, выбросив одну руку в сторону, а другую прижав к боку. Я метнулась к нему и замерла на месте. Нет! Не может быть… Ведь Аркадий Петрович – капитан, а этот – майор. Капитан же, капитан Аркадий Петрович… Да нет же! Но это был все-таки он, наш бывший медсанбатовский политрук – Жемчугов Аркадий Петрович. На левой щеке, почти у самого виска – следы от перенесенной когда-то оспы, и на переносице тоже.

– Аркадий Петрович, – беспомощно звала я.

Помнится, поддерживаю голову моего бывшего политрука, моего настоящего друга и наставника, стою перед ним на коленях, и нет у меня сил встать и отойти. Нет… Это чепуха какая-то. Это невозможно… Мне хочется кричать и биться о мерзлую закаменевшую землю, хочется выть в голос, как воют на родине моей бабы на погостах, когда опускают в могилу дорогих им людей.

Услужливая память подсказывает слова:

– Умереть, по сути дела, не так уж страшно. Но очень хочется жить. Хочется узнать, *что потом будет*…

Это совсем недавно говорил Аркадий Петрович. И вот не узнает… Не узнает он даже о том, что будет через минуту.

Набежавший ветер мазнул его лицо щепоткой снега, смешанного с землей, а Аркадий Петрович сам уже не может стереть эту пыль со своего лица. Это приводит меня в отчаяние, и я кричу, захлебываясь

слезами.

– Ну будет, будет, Лиляна, – успокаивает меня капитан Васильченко.

Начальник штаба распорядился, и уже бойцы торопливо роют у обочины дороги братскую могилу. Так быстро все это делается…

Наступил день, обыкновенный из обыкновенных фронтовых дней. На земле нашей вырос еще один небольшой могильный холмик. Даже надпись на фанерке – все честь по чести.

Когда мы сели в машину, капитан Васильченко подал мне погоны: четыре маленькие звездочки и один просвет…

– Возьми на память, это у него в кармане нашли.

Значит, всего несколько дней носил он погоны майора. Дней, а может быть – часов. Да в этом ли дело? Он был *коммунистом* – это главное, а звание… В них ли суть? Нет больше на земле большевика Жемчугова Аркадия Петровича.

Я бережно приняла капитанские погоны Аркадия Петровича и, развязав свой вещмешок, аккуратно положила их в зачитанный томик книги Островского «Как закалялась сталь».

* * *

Не успели мы отъехать и несколько километров, как грузовик наш внезапно остановился среди поля. Начальник штаба отозвал всех офицеров в сторону и быстро стал им что-то объяснять. Васильченко что-то прокричал шоферу, и тот моментально развернул машину.

– Ложись! – зычным голосом скомандовал начальник штаба.

Только теперь я заметила, что совсем неподалеку рвутся мины. Раздалась автоматная очередь – словно кто-то с треском разрывал туго натянутое полотнище из коленкора.

Со всех сторон засвистели пули. Разве так бывает, чтоб противник был почти кругом? – недоумевала я.

– Попали в мешочек, – бормотал капитан Васильченко, прибавляя к этому фразу покрепче.

– Прорвется ли шофер? – тихо спросила я.

– Должен бы… – рассеянно ответил капитан. – Ну держись, девушка. Стрелять умеешь?

Я кивнула головой, доставая из кобуры маленький бельгийский браунинг.

– Свою игрушку сбереги напоследок, если чего… – тихо посоветовал Васильченко, – а постарайся лучше добыть автомат. Стрелять из автомата умеешь?

Я снова утвердительно замотала головой, потому что негоже мне своим дрожащим голосом было обнаруживать свой страх. Я спрятала браунинг и поспешила к раненому лейтенанту, который неестественно оседал на землю, зажимая рукой бок. Перевязываю, а сама думаю о том, что надо бинты экономить. У меня только одна санитарная сумка. Раненый лейтенант снова вернулся в строй – я видела, как прижался он всем телом к кювету, всматриваясь в серую щетку кустов, где шевелились едва заметные силуэты солдат противника.

Зацепило еще несколько человек. Согнувшись, я перебегаю от одного к другому. Становится жарко – так приходится торопиться. Один солдат тяжело ранен. Он уже не может вернуться и стрелять. Забираю его автомат и пристраиваюсь рядом с Васильченко. Когда он неподалеку, не так страшно. По другую сторону дороги уже успели окопаться начальник штаба дивизии и несколько солдат из комендантского взвода. Я заметила, как действовал полковник саперной лопаткой, и после этого прониклась к нему чувством глубокого уважения. То был не только начальник штаба, но и *солдат*.

– Убери голову! Не пали без толку, – советует Васильченко. Сам он старается подпустить противника поближе и только тогда стреляет.

Я старательно прицеливаюсь. Пусть подбегут поближе. Вот так. Хорошо. Нажимаю гашетку. Кажется, упали несколько человек. Конечно, это не я оказалась столь меткой. Стреляют обе наши маленькие цепи. Немцы падают. Но они не остаются неподвижными. С ужасом вижу, что они ползут, приближаются к нам. Будь

внимательна, Лиляна. Смотри, как действует Васильченко. Когда он стреляет, я тоже нажимаю гашетку и даю очередь. Кажется, в цель.

– Сестра!

Я оглядываюсь. Ищу глазами раненого. Это – полковник. Опустившись на корточки, наш начальник штаба держится за плечо. Вместе с солдатом помогаю ему снять шинель.

– Ничего, ничего, – скороговоркой успокаивает меня полковник, и как только я заканчиваю перевязку, снова возвращается на свое место.

– Переправляйте-ка раненых вон в ту лощинку, – кричит он мне, продолжая стрелять.

Как это я сама не догадалась? Действительно, то место на которое указал полковник самое безопасное.

Начинаю действовать. Одного за другим волоку на плащ-палатках раненых. Их четверо. Остальные, те кто может держать оружие, стреляют. Сейчас я тоже вернусь в строй. Быстро пересчитываю «оставшиеся штыки». Вместе со мной – девять человек. Не густо. А немцев около роты. Ну что ж. Только бы хватило патронов.

– Лиляна!

Это зовет Васильченко. Согнувшись в три погибели, спешу на зов. На дне окопа лежит полковник.

– Снова… Теперь в голову. И зачем только он подходил сюда? Лиляна, он тяжелый. Осилишь? – быстро спрашивает Васильченко.

– Ладно. Помогите только на плащ-палатку уложить.

Я забираю в ладони концы плащ-палатки и изо всей силы тяну грузное, обмякшее тело полковника. Кто бы мог подумать, что он такой тяжелый? Силенок у меня не хватает. Темнеет в глазах. Чувствую, как липкий пот стекает по моим вискам. Да беда еще в том, что не могу я подняться во весь рост, а ползать по-пластунски как следует не умею. Приходится карабкаться, пятиться, ползти на коленках, а через несколько шагов, выбившись из сил, отдыхать и снова ползти…

Потерявший сознание полковник не видит моего позора, да и никто не замечает, что через какие-нибудь два десятка метров я делаю передышку. Пятый раненый. Ну и достался же он мне. Наконец-то!

Оставив полковника на попечении тех, кто был в сознании, я вернулась к нашим.

– Береги патроны, Лиляна, – снова напомнил мне Васильченко.

Я выстрелила еще раз. И все. Патронов у меня больше не было. Осталась еще одна обойма в браунинге. Вот и его очередь пришла.

– Наши! Наши! – закричал кто-то рядом.

По дороге мчалось несколько грузовиков с солдатами.

– Кажется, успели… – проговорил Васильченко и рванул воротник гимнастерки, судорожно глотая воздух.

Увидав, что обстановка изменилась в нашу пользу, немцы, отстреливаясь, начали отходить.

Снова появились раненые, и снова, обливаясь потом, волоку я их в ту лощинку, которую указал полковник. Теперь можно заняться и эвакуацией.

Только теперь до меня начинает «доходить», что все мы были на волосок от гибели. Что это утро было для нас посложнее того, когда мы набрели на минное поле. Ладно, эмоции потом! Пора думать об эвакуации раненых. Сколько их там? Надо посчитать. Побегу-ка. И только я поднялась и встала во весь рост, как кто-то сбоку изо всей силы ударил меня по ноге. Палкой, что ли. Кто это такой неосторожный? Я упала и почувствовала, как что-то теплое-теплое стало разливаться у меня по ноге.

– Лиляна! Ранена?

Васильченко бросился ко мне. Я еще не почувствовала боли, но увидев встревоженное «ирокезское» лицо капитана, поняла, что дело мое – дрянь.

– У меня в кармане пакет остался…

Но Васильченко, не слушая, уже роется в санитарной сумке. Блеснули в его руках ножницы. Быстрыми рывками располосовал он

мои брюки по шву.

– Пустите. Я сама попробую.

– Помолчи-ка.

Капитан внимательно осмотрел рану.

– Не знаток я, но, кажется, легко ты отделалась. Надо наложить шину. Верно?

– Прежде всего – жгут… – подсказала я.

– Да, хлещет крепко, – бормочет капитан.

Я чувствую, что начинаю слабеть. Не говорил бы ничего Васильченко. А то мне кажется, что я истекаю кровью.

– Смотри-ка, и немцы получили подкрепление, – доносится до меня голос Васильченко.

Из-за стрекота автоматов я не слышу его голоса. Думаю о том, как бы добраться до той лощинки, куда я оттащила раненого полковника. Кажется, целую вечность лежим мы, уткнув носы в землю. Наконец, перестрелка кончилась. Теперь противник бил только по дороге небольшими снарядами из минометов.

– Ну-ка, Лиляна, давай перебираться на плащ-палатку. Донес бы тебя, да мишень я довольно приметная. Вот беда какая.

Кое-как перемещаюсь на заляпанную кровью плащ-палатку. Крепко ухватившись за концы ее, тащит меня Васильченко. Он ползет по-пластунски, а я держусь за край олубеневшего полотнища голой рукой. Рядом, точно две зеленоватые лягушки, прыгают мои меховые рукавицы, которые связаны длинным шнурком и продернуты под воротником шинели. Рукавицы раздражают меня больше всего. Да и лежать неловко. Подо мной перекатываются мерзлые комья земли. Снегу очень мало – оттого больно и неудобно. Васильченко тащит меня довольно-таки быстро. Иногда он приподнимается, желая узнать, как там обстоят дела. Ему теперь нечего особенно беспокоиться. Командует майор, только что прибывший в дивизию будущий комбат, который направляется в свой полк. Обо всем этом успевает сказать мне Васильченко. Он снова прислушивается. Где-то кричат наши. Значит, пошли в атаку. Скоро

должен закончиться бой. Рывок. Еще рывок. Теперь мы в глубоком овражке. Капитан берет меня на руки и несет.

– Потерпи, Лиляна. Уже скоро.

Он опускает меня на реденький снег рядом с теми, кого недавно я сама доставляла сюда. Я неловко поворачиваюсь и задеваю раненую ногу. Острая боль отдается в каждой клеточке моего тела. Я ойкаю и протяжно стону. Довольно-таки противно слышать свой тоненький беспомощный голос.

…В медсанбат привезли меня с накрепко перебинтованной ногой. Васильченко, оказывается, когда я потеряла сознание, снова перевязывал мне ногу, получше укрепил временную шину. Я часто думаю о том, что было бы со мной, если бы не его забота. Шагать бы тебе, Лиляна Ивановна, всю жизнь на костылях…

Очнулась я на операционном столе. Первое, что я увидела, так это измятую, пожелтевшую простыню над своей головой. Рядом стоял доктор Далибов. В белом измятом забрызганном кровью халате, на фоне пожелтевших в автоклавах простыней он совсем не был похож на тех хирургов, которых отутюженными, накрахмаленными рисуют на своих картинах художники. И сам Далибов казался помятым. Лицо его было очень усталым, и тонкая сеточка морщин у глаз свидетельствовала о тяжелой работе. Черные выпуклые, словно крупные виноградины, глаза его смотрели устало и строго. Операционная сестра вытерла ему кусочком бинта пот со лба. Он отбросил повязку и заговорил со мной:

– Вот и все в порядке.

– Ампутация?

– Не болтай глупости, – и Далибов, подмигнув мне, сплюнул через левое плечо. – Плясать будешь.

– Вы всем так говорите, доктор. Я знаю.

– Много ты знаешь, – нахмурился хирург. – Но за тебя я спокоен. Слегка задета бедренная кость. В гипсе придется полежать. Вытяжение тоже сделают.

Я заплакала. Далибов погладил меня по голове:

– Будь умницей. Рассказывают, что ты хорошо держалась в бою. Стреляла?

– Немного.

…В «палату» эваковзвода, которая оказалась обыкновенной украинской хатой, пришла ко мне Ася. Она уселась рядом и тихонько начала рассказывать медсанбатовские новости. Сначала о себе. И говорит о своем горе, как о чем-то ее не касающемся. Да, порвала она со своим Ромочкой. Одна будет растить своего будущего ребенка. Я чувствую, как нелегко ей «проявлять стойкость и мужество», и перевожу разговор. Подошла Галина Ахметовна и спросила мягко, с участием:

– Больно?

– Уже не больно.

Дорогие мои, но вы ведь не знаете самого страшного. Вам ничего не известно об Аркадии Петровиче. И мне предстоит вам сказать об этом. Надо. Но как? Я не могу. Разве можно вот так сразу ударить?

– Лилянка, тебе плохо? – заботливо спрашивает Ася.

– Да нет, ничего.

Как же все-таки сказать о смерти Аркадия Петровича? В древности восточные правители казнили вестников, которые сообщали о несчастье. В этом диком обычае я пытаюсь отыскать определенный смысл. В самом деле, как выглядит человек, который приносит черную весть? И все-таки, я обязана им сказать.

– Галина Ахметовна, а где Клава?

– Видишь ли. Лиляна…

– Случилось что?

– Случилось. Поехала сопровождать раненых и попала под бомбежку.

Я закрыла глаза. У меня всегда так: если счастье, так много его. А если горе – и того больше. Одно никогда не приходит. Пачками все. Клава… Клава, влюбленная в генерала. Смешная курносая бедовая Клавдийка…

– Когда это случилось?

– Месяц тому назад.

– Значит, и Клава…

– Сколько же людей… Сколько хороших людей. Сначала Клава… А сегодня Аркадий Петрович…

– Что ты плетешь! – сердито крикнула Галина Ахметовна. – Он вчера был у нас в медсанбате. Майора ему присвоили…

– Нет больше майора Жемчугова.

Скрипнула дверь. Вбежала запыхавшаяся Ася и за ней – доктор Далибов. Он встревоженно глядел на меня.

– Тебе плохо?

– Доктор Далибов, у нее бред. Она говорит… – поспешила отвести беду Галина Ахметовна.

– Нет у меня никакого бреда. Я все помню. Только за что это? За что? Какой человек погиб… – и я заплакала.

– О чем ты, Лиляна? – с тревогой спросил Далибов.

Он присел на табурет, опрокинутый на бок, и взял меня за руку.

– Да не брежу я. Клава погибла… А сегодня – Аркадий Петрович. Майор Жемчугов…

– Да он же вчера был у нас, – растерянно проговорил Далибов.

– Был… Я видела сама. И как их «виллис» подорвался на мине. И могилу Аркадия Петровича…

Доктор Далибов ни о чем больше не спрашивал. Он резко поднялся, отшвырнул ногой табурет и широко шагнул к двери. Галина Ахметовна и Ася заплакали.

Мне ни о чем больше не хотелось ни расспрашивать, ни вспоминать. Галина Ахметовна, ступая на носки, тихонько вышла. Ася осталась со мной. Она села на ту самую обернутую на бок табуретку, с которой только что встал Далибов, и долго оставалась в такой неудобной для нее позе. Располневшая, осунувшаяся, она всхлипывала, изредка вытирая лицо марлевой косынкой. Все в этой палате было серым, скучным, щемяще ранившим душу.

…Затопали чьи-то сапоги, и Ася, торопливо вытирая

заплаканные глаза, поспешила к двери.

– Сюда нельзя, товарищ капитан.

– Почему?

– Здесь тяжело раненые, – понизив голос, сказала Ася.

– И Лиляна?

Я видела, как Ася кивнула головой.

– Очень… Очень прошу вас, – проговорил Козырев. – Мне только минут на десять.

– Что вы! Нельзя.

– Очень вас прошу, – умоляюще произнес Козырев.

– Ну что ж, – вздохнула Ася. – Только ненадолго. И волновать нельзя. Их через полчаса эвакуируют.

Он вошел и несмело потоптался у моих носилок, снял шапку. Я ждала, о чем он будет говорить.

– Как же это? – тихо спросил он. – Сильно?

– Не знаю. Разве они скажут?

– Куда же тебя теперь?

– В эвакогоспиталь. А потом – в тыл.

– Но куда? Куда? В какой город?

– Разве я знаю.

– Нет… Это невозможно. Как же я узнаю, где ты будешь?

Вот как. Зачем он говорит все это? Неужели он не понимает, что неуместен этот разговор. Но что мне ответить этому человеку? Я и так уже сегодня столько людей огорчила.

– Не надо об этом, – тихо попросила я.

Козырев подозрительно прищурился. Лицо его стало холодным и злым:

– Значит, это правда…

– Что правда?

– Любишь его?

– Никого я не люблю. Все намного сложнее.

– Не любишь! – обрадовался Козырев. – Правда, Лиляна? Ты напишешь мне?

– Нет, Гена. Вы только не обижаетесь. Поймите меня. Не могу я вам ничего обещать. Я не знаю, что со мной будет. Может быть, калекой останусь. А о любви… Зачем вы меня сейчас об этом спрашиваете? Не надо.

– Очень прошу тебя, Лиляна. Не обещай ничего, только напиши, где ты будешь.

– Не обещаю.

– Ну так и знай: все равно найду! – упрямо отрезал он.

Что ж, пусть проводит свою линию до последнего. Право, все скоро кончится. Уеду, и забудется все. Кто может убедить меня в том, что молодой человек останется верным девушке, если она потеряет ногу? Кому она будет тогда нужна? А сейчас… Он, быть может, даже сам верит в то, что говорит. Ничего. Скоро все станет на свои места. Пусть посидит рядом, пусть скажет еще что-нибудь. Да… Но если бы ты любила, Лиляна? Так ли б ты рассуждала тогда? И почему это женщина – я имею в виду порядочных, верных, преданных женщин – если раненым оказывается ее муж или жених, то продолжает любить, что бы с ним ни случилось. А если такая беда с женщиной… Словом, говори, говори, капитан Козыряв, пока не надоест.

Пришли санитары и понесли меня к машине. Все было так, как и раньше – только с той разницей, что прежде я носила других к эвакомашинам, а теперь несут меня…

Носилки мои поставили с краю, у самого борта. И такая же была «коломбина», которая Колю Савчука когда-то привезла в медсанбат. Суетятся санитары, устанавливая носилки. Все так, как и прежде.

Водитель уже запустил мотор, и наша «коломбина» готова была тронуться в путь, когда прыгнула ко мне Галина Ахметовна и быстро зашептала на ухо:

– Звонил командир дивизии. Справлялся о твоем здоровье. Далибов доложил и велел тебе сказать.

– Спасибо… Спасибо, персидская княжна…

– Что ты сказала, Лиляна?

– …Что вы – персидская княжна. Если бы вы знали, какая вы

красивая! – и я поцеловала недоумевающую Галию.

Тонкая женская рука тянется ко мне, отодвигая тяжелый брезент. Это Ася.

– Будь счастлива, Лилянка.

– Спасибо, пусть и у тебя будет все хорошо.

Рывок. Значит, поехали. Все носилочные, тяжелораненые в этой «коломбине». Фельдшер сел почему-то вместе с шофером. Известное дело, – мужчина. Девушка поехала бы вместе с нами…

Дорога. Невеселая дорога без конца и краю. Подскакивает на ухабах грузовик. Больно. Но больнее всего от того, что невозможно смириться со смертью Аркадия Петровича и Клавы. Все так страшно и нелепо. Им бы жить да жить. Клава… Наивная, чистая, правдивая… Ничего-то хорошего так и не увидела она в жизни. И вот – на тебе. Какая же она была терпеливая, выносливая. И надо же. Сухой былинкой вспыхнула ее коротенькая жизнь в этом страшном костре войны, и все. Плачьте, родные… Поплачете и потихоньку забывать начнете.

Я не замечаю, что начинаю усиленно сморкать носом. Чувствую, что веки мои пощипывает. Но здесь никто не увидит моих слез. Почему же не дать им волю?

Рядом со мной боец, у которого задет позвоночник. Он лежит на досках, укрепленных поверх носилок. Нет, это, пожалуй, целая дверь. Лежать этому бедняге на своем сооружении – настоящая пытка. Он стонет. Просит пить, замолкает. Чувствуя недоброе, тянусь к окошечку кабины и стучу шоферу. После нескольких попыток, наконец, удается дозваться фельдшера. Он на ходу прыгает к нам, наклоняется над моим соседом, а потом, нагибаясь ко мне, шепчет:

– Конец… Только не звони, пока доедем.

– Не беспокойтесь, – сердито отвечаю походному Эскулапу и крепко стискиваю зубы, считаю до десяти. Только бы не наговорить этому фельдшеру дерзких слов.

Наконец-то он ушел. Догадливый. И то – хлеб. Я кошу глаза на своего умершего соседа. На каждом ухабе, точно тряпичная,

подпрыгивает его мертвая рука. Страшно… Какая же я была наивная, когда думала, что все, отправленные нами из медсанбата – это уже спасенные люди, что нам удалось отвоевать их у смерти. Рядом с умершим стонет молоденький паренек. Ему тоже очень плохо. Мне досадно, что никому уже я не могу помочь, что сама беспомощна, как маленький ребенок.

…Потом нас выгружают. Фельдшер деловито ищет у мертвого пульс, приподнимает веки. А потом приказывает отнести мертвого в сторону. Санитары деловито и бесстрастно делают свое дело. На станции тоже, оказывается, выросло кладбище. Это те, кто не успел даже и до эвакогоспиталя добраться…

Вот и считай, Лиляна, сколько же их, кладбищ, если на каждом поле боя, у каждого полкового пункта первой медицинской помощи, у каждого медсанбата, у каждого эвакогоспиталя и госпиталя…

Считай-считай… Знаешь арифметику?

…Нас привезли на Урал, в госпиталь на окраине Челябинска. Это было в конце января 1944 года.

Глава 20
Зацветут еще сады, зацветут!

Отбушевали уральские бураны, отшумели веселые говорливые ручьи, вскрылись таинственные диковато-сказочные озера. Промелькнула короткая здешняя весна. И вот летит уже в распахнутые окна нашей госпитальной палаты пух с тополей, которые растут вдоль окраинной улочки. За окном по-летнему шумит большой город. Иногда до нас доносятся взрывы беззаботного детского смеха. (Нет, видно, для детей никакой войны). Бегут дни за днями. Сегодня выписывают Лену, и потому у меня с утра все валится из рук. Я взвинчена, расстроена, огорчена, озабочена и… как там еще? Словом, от меня уходит человек, который стал родным. Шли-шли по дороге рядом, – глядь, а стежки-то наши и расходятся, и может статься, не сойдутся пути-дорожки.

Лена давно самостоятельно передвигается по палате. Сегодня встала рано и успела уже переделать уйму дел: собрала в полевую сумку нехитрые свои пожитки, аккуратно застлала постель и, словно зрячая, красиво причесалась. Потом надела тщательно выглаженную защитного цвета гимнастерку и темно-синюю диагоналевую юбку. Я провожаю глазами каждый ее шаг, стараюсь запомнить каждый жест. Вот она наклонилась над тумбочкой, и звякнули ее награды – а их у Лены восемь. Четыре ордена, три медали и Звезда Героя. Почет тебе и уважение, Герой Советского Союза Елена Федорова. Опытные врачи здесь на Урале лечили тебя, они сделали все, чтобы поправить твое зрение, но не сумели сотворить чуда – ты по-прежнему отделена от мира красок. Не об этом ли ты думаешь, подойдя к раскрытому окну, Лена?

Я вижу, как меняется выражение знакомого лица. Летит пух с тополей, и ты легкими дуновениями отгоняешь его, губы у тебя смешно оттопыриваются, ты гримасничаешь, и что-то светлое вдруг появляется на твоем лице – видно, вспомнила ты свою весну, свою

юность – это легкие пушинки принесли солнечное воспоминание. Чуть повеяло ветром, едва заметно потянуло холодом, и снова изменилось выражение лица – это грустные мысли прилетели к тебе, Лена, – лицо стало замкнутым и строгим.

Лена, Леночка, сестра моя, сегодня увезут тебя на вокзал, посадят в поезд, а через несколько дней будешь ты у себя дома, в Ленинграде. Хорошо, что нашлись у тебя дальние родственники, и будет за тобой какой ни на есть, а догляд. Как жить будешь? Может быть, и об этом думаешь ты сейчас, дуя на легкие тополиные пушинки?

Я смотрю на тебя и думаю о том, сколько же страшного пришлось пережить тебе, сколько тяжелого свалилось на твои женские плечи. Но сказать тебе об этом я не могу – ты не любишь, когда тебе выражают сочувствие, оно оскорбляет тебя. Тебе тревожно сейчас, поэтому я и не подаю голоса. Думай, что я сплю. Так лучше для нас обеих, а главное – для тебя.

– Вы готовы, товарищ старший лейтенант? – доносится до меня шепот лечащего врача.

– Зачем же так официально, Ираида Александровна? – улыбается Лена. – А Лиляна спит?

Лена шагнула в мою сторону.

– Да, – громким шепотом отвечает врач.

– Ну, пусть еще поспит немножко. Она поздно уснула, мы проговорили долго.

Лена, Леночка, я ведь и не засыпала. Разве можно уснуть, когда ты уезжаешь? Сколько же у меня впереди дней и ночей без тебя…

Лена снова отошла к окну и поманила к себе Ираиду Александровну.

– Расскажите мне, какая она, Лиляна?

– Ну как вам сказать… Красивая.

– Это и Катюша мне, бывало, нашептывала. А какая, какая?

– Трудно рассказать. У нее светло-русые чуть волнистые волосы, черты лица, пожалуй, западные – польские или литовские. Брови

всегда будто приподнятые, и потому кажется, что она чему-то удивляется. Но самое любопытное – это ее глаза. Серые, длинные, и холодный взгляд.

Ах, чтоб тебя, докторша! Встать бы да нагрубить. Вот поистине дурацкое положение, и глаза нельзя открыть, и пошевелиться нельзя. Что ж, делай вид, что спишь, а тебя тут будут размалевывать. Даже во рту сладко стало от докторской парсуни.

Боже мой, до чего же люди могут быть пристрастны… И зачем она так, эта докторша?

– Она надменная какая-то, – продолжала Ираида Александровна. – Стыдно признаться, но я первое время как-то неловко себя чувствовала, когда замечала ее холодный взгляд.

Вот это и для меня, пожалуй, новость. Я всем сердцем тянусь к человеку, а, выходит, отталкиваю его от себя и чем же? Всего лишь взглядом.

– Не знаю, Ираида Александровна, а мне всегда Лиляна казалась простой и сердечной. Правда, немножко скрытная она, но это уже характер такой. Мне она рассказывала о себе, но немного, – понизив голос, ответила Лена.

– Вас несчастье сдружило, – отозвалась докторша. – А мы почти за полгода, как она здесь, ничего о ней не знаем. Сестры шепчутся, что у нее трагедия какая-то в жизни.

– Как и у многих из нас, – усмехнулась Лена.

– Расскажите хоть немножко. Кто она? Замужняя?

– Ну, это, положим, детали, – сухо отозвалась Лена.

Стоят у окна две женщины. Невысокого роста, худенькая докторша наша Ираида Александровна и Лена Фёдорова – летчица – в форме, с погонами, с боевыми орденами, со звездой Героя. Ловлю себя на том, что сравниваю их. Лена, несмотря на ее несчастье, все же остается человеком большой воли и сильного характера. Мне так хочется быть на нее похожей, но… Но все-таки у меня больше общего с нашей докторшей. Маленькая, худенькая, с усталыми глазами на поблекшем лице, она выглядит никак не военным врачом,

а просто женщиной – очень земной, с маленькими женскими слабостями – откровенным любопытством, сентиментальностью и восторженностью.

И я тоже похожа на нее своим женским любопытством. На моем месте Лена громко сказала бы, что не спит, а я оказалась родной дочерью Евы… А докторша-то, докторша какова! Здорово расписала. Надо будет ухитриться провести руками за спиной – наверное, уже и крылышки прорезались?

Милая Ираида Александровна, о чем я меньше всего думаю, так это о внешности своей. Разуму бы побольше. А то столько глупостей наделала, что и десятеро не разберут. А вы о бровях да о взгляде.

– Спит? – снова спросила Лена.

Она подошла ко мне и осторожно погладила мягкой ладонью по моим волосам, тонкими пальцами коснулась бровей, щек, подбородка. Я жадно вглядывалась в ее лицо, немного трагическое, со скорбной складкой у рта, меня отпугивали ее темные очки, за которыми были незрячие глаза этой очень дорогой мне женщины. Я поймала ее руку и поцеловала.

– Что за нежности, солдат? – грубовато спросила Лена, присаживаясь ко мне на кровать. – Давай прощаться, что ли?

Ираида Александровна, мягко ступая по полу в своих тапочках, осторожно прикрыла за собой дверь. Сообразительная, и за то спасибо.

Лена наклонилась ко мне и зашептала:

– Что скажу тебе на прощанье, Лилянка… Поменьше ты философствуй. Даже про себя, даже в мыслях. В наше время вредное это занятие. Поняла? Ты ничего не говорила мне, но я и так пришла к некоторым выводам.

– Спасибо, Лена.

Мы просидели несколько минут молча. О чем говорить? Не соберешься с мыслями. Потом вспомнишь, да будет поздно.

– Пиши мне, Лилянка…

– Конечно. Я верю, что мы еще встретимся.

Мне захотелось плакать, но я не могла позволить себе этой роскоши в присутствии Лены. Я только проглотила комок. Только бы не спросила Лена сейчас ни о чем. И она не спрашивала, резко встала и шагнула к двери. На пороге стояла дежурная сестра, которая пришла за Леной.

Затихли шаги в коридоре. В раскрытое окно летел легкий пух. Вот он покрыл подоконник и падает на пол, на то место, где совсем недавно стояла Лена с нашей докторшей.

Как нескоро заживает моя нога. Или доктор Далибов не хотел тогда меня запугивать, или слишком уж оптимистически смотрел на мое ранение. Здесь мне за пять месяцев несколько раз чистили рану. Даже и до сих пор не разрешают ходить на костылях. Одно время было совсем плохо. Боялись, что придется резать – поэтому и положили нас с Леной в эту двухместную палату. Мы, оказывается, из женщин были самые тяжелые. А я и не догадывалась об этом. Только недавно обо всем проболталась мне «по секрету» всезнающая Катенька Саранских.

Маленький ты мой воробушек, вот привязалась ты ко мне, и не оттолкнули тебя мои «холодные» глаза. Люблю я тебя, подлеток ты мой – Катюша. Столько сделала ты для нас с Леной! Может быть, кое в чем и напутала, но делала ты с самыми искренними, добрыми намерениями. Например, письмо Козыреву. Под диктовку Лены написала она все – и о том, что ранение мое очень серьезное, и что врачи опасаются, как бы не пришлось прибегать к крайним мерам, и что я чувствую себя очень одиноко. А почему, собственно, Козыреву? По-видимому, потому что я как-то упоминала о нем в разговоре. А о Владимире Викторовиче я не только не говорила, но и думать о нем запретила себе. К чему?

Козырев однажды прислал мне целую охапку писем. Я даже растерялась. И рассердилась было – зачем это? Но все же письма прочитала с великим любопытством. Даже повеселела потом. Правда, я попыталась выговаривать Лене за то, что они с Катюшей пытаются

вторгнуться в мое личное и повлиять на «суверенность моих отношений с другими государствами». Лена обиделась тогда и резонно заметила, что я вольна поступить, как мне будет угодно, что на эти письма совсем необязательно и отвечать. Это несколько охладило меня. Но…

Не могла же я объяснить Лене, что сама до сих пор не могу разобраться в своих отношениях к этим двум людям – к Гене и к… Владимиру Викторовичу. Обвиняю себя в легкомыслии, сержусь, ругаю себя, но ничего не могу поделать. Владимир Викторович похож чем-то на Колю Савчука. Вернее, Коля был бы, пожалуй, таким, если бы дожил… Значит, мое отношение к Борисову – это память о Коле? Да нет же! И незачем себя обманывать!… Но он – командир дивизии, генерал. А ты кто, Лиляна? Недоучившаяся студентка… И даже дело не в том. Главное, как он к тебе относится? Вот этого-то ты и не знаешь, так зачем же решать какие-то задачи. А Гена… Гену ты не любишь. Любит он, если верить его письмам. Я же только испытываю к нему чувство простой благодарности за внимание, да… И не надо притворяться – чувство девичьей гордости, что ли… Но я не должна отвечать ему, незачем вводить хорошего человека в заблуждение. Это нечестно.

Но письма *оттуда* дороги мне, согревают они меня, успокаивают, – вот что. Сегодня после ухода Лены я, наверное, всплакнула бы, если бы не эти письма. Перебираю их, перечитываю, и словно бы они голосом Аркадия Петровича говорят:

– Ну-ка, повыше голову, солдат! У тебя же и фамилия подходящая – Орлович…

Что верно, то верно – фамилия звучит, но в иной час и Орлович мокрой курицей выглядит. Что там уже перед собой-то притворяться, что храбриться… Плохо мне, ой как плохо.

Давай-ка, Лиляна, перечитаем письма веселого белозубого капитана. Утешение надо сейчас – вот оно и прилетело к тебе, шуршит под руками. Слабость это? Да, но человек я или бесчувственная деталька какой-то громоздкой машины?

Здравствуйте, товарищ капитан… Переполошили вы всех девчонок в медсанбате когда-то. Очень жаль, что не могу я ответить вам на ваши письма, не имею права…

Дрожат в руках моих листки. Перечитываю их, некоторые места дважды и трижды…

«26 января 1944 г.

Лиляночка!

Распростившись с тобой, всю дорогу шел как в угаре. Чего только ни передумал. Мрачные мысли лезут в голову – как ты там? Все ли благополучно обойдется? Лилянка, что бы с тобой ни случилось, знай: никогда я не откажусь от тебя. Я это решил твердо. Не оставлю. Никогда.

…Я пишу тебе и не знаю, куда посылать письма. Но буду писать все равно. Найдешься же ты, в конце концов, отыщешься. … Мне очень трудно поверить, что никогда не увижу тебя. Жив буду – найду!»…

«29 января 1944 г.

Здравствуй, Лиляночка!

Никогда не слыхала ты, чтоб называл тебя так. Но этого я только не говорил вслух, а мысленно… Какие только слова не говорил я тебе мысленно…

…Скучно, скучно и скучно без тебя. Только о тебе и думаю. Береги себя. Как ты там в дороге?

…Вчера я весь день писал тебе письмо. Как только выпадет свободная минутка, принимаюсь за письмо. И ничего не получается. Ты просто смеялась бы над моими жалкими словами. И почему это так трудно написать о том, что чувствуешь? А с тобой бывало так?

…Откликнись! … Ребята спрашивают, чем это я так занят, что не вижу ничего вокруг. А я даже не могу им сказать, что пишу тебе. Засмеют ведь. Они же знают, что ты никогда не обращала на меня внимания…»

«1 февраля 1944 г.

Родная моя Лиляна!

Сейчас я на новом месте. Был забавный переезд. Ночью немного поплутали, ибо старшим среди нас оказался один из отставных «академиков», которого за какие-то провинности из аудитории академии направили на фронт (надо связывать теорию с практикой…). Так этот «два просвета, две звезды» действовал слишком «академически», потому и пришлось нам уточнять маршрут в пути… Мы застряли, ввалились в заброшенный немецкий блиндаж и часа два вытаскивали машину под звучную команду стоявшего в сторонке «академика». Ничего, справились. Все было так и не так, как в то время, когда ты была совсем неподалеку. Теперь, если бы я даже не мог удержаться и под каким-нибудь предлогом ухитрился завернуть в ваше хозяйство, то все равно не увидел бы тебя там. Признаюсь, в прошлом я так делал иногда. Пройду мимо, слышу даже стрекот машинки, когда ты печатаешь под диктовку Васильченко или еще кого. И ухожу. Почему это я рассказываю тебе сейчас, не знаю. Может быть потому, что письма мои вряд ли ты когда прочитаешь… Некуда их посылать, товарищ Лиляна…

Скоро весна, а тебя нет… Где ты?..»

«3 февраля 1944 г.

Дорогая моя Лиляна, Лиляночка!

Мы все продвигаемся и продвигаемся на восток. Ты же сама знаешь: все бывает на фронте. Но как бы ни было трудно, мысли о тебе согревают меня. Я только теперь понял, что никого не любил до тебя. Не хочу лгать – девушки были, и встречи тоже, но такого чувства… Я счастлив, что способен на такое…

…Мы на Южной Украине. Здесь уже весна. Я буду встречать ее без тебя. Этого никак не могу постигнуть. Не могу с этим примириться. Весна, а тебя нет рядом. Я увидел тебя первый раз тоже весной. В прошлом году. Если бы ты знала, какая ты тогда была.

Гордая, насмешливая и… такая красивая, что я даже растерялся. Стоишь с вязанкой хвойных лапок, смотришь на меня так холодно и осуждающе, что я себе мальчишкой показался. И тогда понял: только ты… Прости, любимая, и за стиль, и за откровенность…

…Если бы ты знала, как я хочу тебя видеть…»

«5 февраля 1944 г.

…Хорошая моя, я все о себе и о себе, о своих чувствах. А о тебе ничегошеньки не знаю. Ну как мне узнать о тебе? Что с тобой? Что говорят врачи о ранении? Как нога? Хорошо ли заживает? Я спрашивал у хирурга Далибова, как прошла операция. И знаешь, что он ответил? Операция-то прошла хорошо, но что делать с теми, кто так живо интересуется всем, что связано с Орлович? Значит, не один я спрашивал о тебе. Кто же еще? Далибов сострил, что придется ему провести пресс-конференцию… Это так задело меня, что я, кажется, не очень вежливо простился с доктором.

…Но я все равно буду писать тебе. Должна же ты откликнуться… Ты должна ответить на мой главный вопрос…

…Но ты уже ответила. Разве молчание твое – не ответ?

…Вчера началось наше дальнейшее «путешествие». Мы как всегда поехали на машине. Но увы! Удалось отъехать не более полукилометра, как безнадежно застряли. Здесь же грязь стоит непролазная. Местные жители говорят, что такой «зимы» не помнят они лет двадцать. Снега уже совершенно не осталось, и погода скорее похожа на майскую, а отнюдь не на февральскую. Три часа мы тащили машину буквально на себе. Затем оставили шофера немного поскучать в одиночестве, а сами пошли вперед. До конечного пункта было километров двадцать пять. Чувствуешь, Лиляночка, какие дни наступили? Немец-то драпает! Только пятки сверкают. Стремится противник на возможно большее расстояние оторваться от нас.

…Мы шли по такой же грязи, как когда-то осенью. Помнишь? Всем было тяжело. Только я, кажется, был в более выгодном положении: всю дорогу я мысленно разговаривал с тобой…»

«23 февраля 1944 г.

Дорогая моя Лиляночка!

Поздравляю тебя с Днем Советской Армии. Если бы ты знала, как мне тревожно, что нет от тебя никакой весточки. Надумаешься, порой, о всяком. Откликнись же!

Не приснилась же ты мне. Есть же ты где-нибудь на свете. Неужели ты не чувствуешь, как трудно мне без твоих писем? Но я все равно не успокоюсь. Буду писать тебе до тех пор, пока не получу адрес. Потом соберу все письма и отошлю их тебе. Читай! И что бы ты ни ответила мне, все равно буду писать тебе, пока я жив. Если все будет хорошо, то по возвращении с фронта все равно, где бы ты ни была, – найду! Если будешь с кем, отобью! Так и знай! Видишь, какой я храбрый… в письмах. А стану говорить с тобой, ничего не получается. И говорю совсем не то, о чем хотелось бы, и держусь так, словно только что вчера получил аттестат об окончании средней школы. Увижу тебя, и чувствую, что говорю глупости. Злюсь на себя, но что поделаешь? А с тобой так никогда не бывало?

…Прослушали и записали последние известия, отметили их на карте. Надо идти в подразделения – проводить агитационную работу. Настроение радостное – подумать только: как шагнули наши армии! Душа пела, когда мы слушали, что южнее озера Ильмень нами взято свыше 200 населенных пунктов, западнее и юго-западнее города Холм – свыше 100 населенных пунктов, а войска 3-го Украинского фронта штурмом овладели городом Кривой Рог. Такие успехи! … А ты молчишь…»

«8 марта 1944 г.

Хорошая моя! Самая дорогая, самая желанная на свете женщина! Поздравляю тебя с праздником – Международным женским днем. Вышла газета нашей части, посвященная женщинам-воинам. Я берегу для тебя этот праздничный номер. И о тебе там написано. Слыхал я, что по предложению Члена Военного Совета

командование наше представило тебя к ордену Боевого Красного Знамени. За работу в медсанбате и за тот бой, в котором ты участвовала и выносила раненых. Васильченко рассказал одному газетчику подробности, и тот написал очерк. Получилось вполне прилично. Неужели ты не хочешь прочитать, что о тебе написали в газете?»

«11 марта 1944 г.

…Мы шагаем вперёд и вперед – на запад! Настроение очень хорошее. Не достаёт только твоих писем, дорогая моя Лиляна. Вчера проходили красивые места. Дорога шла вдоль шоссе. Дружно растут травы. Весна. Противник «тикает», «драпает», «улепетывает», «сматывается»! Здорово? Чтобы ты могла представить, как это выглядит в натуре, вспомни «великий драп» перед Днепром. Не забыла?»

«16 марта 1944 г.

…Сейчас больше едем. Недалек тот день, когда будем форсировать Буг. Лилянка, а ты где?»

«15 апреля 1944 г.

…Последнее время подразделения растянулись, я снова шагал и шагал. А работа моя такая, что надо побывать везде. По непролазной грязи продвигались мы до Днестра. 1-го апреля форсировали этот водный рубеж и вступили в Бессарабию. Сторона эта встретила нас сурово. Разыгралась непогода. Выпал глубокий снег, и разбушевалась пурга. Она не унималась трое суток. А мы все шли и шли. Марш был выдающимся, скоростным. Чтобы поспеть в подразделения, приходится отмеривать иногда по 40-50 километров в день. За короткий срок наше «хозяйство» подвинулось вперед километров на 500. Чувствуешь, какие масштабы? Я ничего подобного до этого не видел.

Прежде Бессарабия была для меня просто географическим

понятием и только. Когда я еще учился в школе, любил мечтать: вот побывал бы и там, и там. Поведешь указкой по незнакомым названиям рек и гор и думаешь: а как там люди живут? Хорошо бы посмотреть, но вряд ли придется. А теперь, пожалуйста, смотри! Здесь так интересно! Любопытно, что погода встретила нас хмуро, зато люди – приветливо.

Я уже знаю десяток слов по-молдавски. Тебе надо было бы видеть эту страну.

Молдавия… – это пугливые, закутанные в платки женщины. Смуглые, красивые. Некоторые нас боятся, иные ненавидят (те, чьи мужья в румынской армии). Но их меньшинство. А в основном, народ простой, приветливый. Просишь напиться и ждешь воды, а приносят чистейшее виноградное вино… Молдавия – это вино и мамалыга. Есть приходится за маленькими круглыми столиками, сидеть на маленьких стульчиках, вернее – скамеечках.

Если бы ты видела сама эту экзотику! Молдавия… Это сложная национальная политика, кропотливая работа с населением. Немцы и румыны старались посеять здесь страшный антагонизм между народами. Немцы натравляли румын на молдаван, а румыны натравляли молдаван на украинцев. Видишь, как все сложно. А к нам, русским, простой народ относится замечательно. Пожилые мужчины почти все понимают по-русски. Почему? Потому что они служили когда-то в царской армии, несли все тяжести службы бок о бок с нашими, русскими солдатами. К нам относятся хорошо потому (а это главное), что все помнят, какая жизнь начиналась здесь, когда пришла Советская власть. Советская власть была здесь всего одиннадцать месяцев. Дети учились в советских школах и очень хотят учиться сейчас. И все это будет снова – и школы, и свобода! Румынские помещики сбежали к себе в Румынию. А здесь, в Молдавии, налаживается замечательная жизнь. Весна… Весна для простого народа».

«28 апреля 1944 г.

…Поздравляю тебя с праздником Первого мая! Если бы ты видела, какая здесь красивая весна! Бездонное голубое небо, и вся земля кругом в бело-розовых цветах. Цветут сады. А поля… Поля здесь особенные. Поля поделены здесь на полоски, примерно в 60-80 метров в ширину и 300-400 метров в длину. Перелинована здесь пахотная земля. Разве можно все это сравнить с бесконечными полями нашей колхозной Украины!»

Перебираю в руках эти листки, перечитываю снова и снова отдельные места из них. Этим я занята вплоть до вечера. Приносили обедать и ужинать. Обед я проглотила машинально, наспех, а ужин стоит до сих пор на тумбочке. Ловлю себя на том, что письма эти как-то согревают меня, что ли… Чуть светлее становится от них. Почему? Может быть потому, что они *оттуда,* где… Ну уж об этом, пожалуй, не стоит…

И снова спорю сама с собой:

– Хорошо ли ты поступаешь, что не ответила Козыреву на его письма? Читаешь-то их не без удовольствия…

– Так-то оно так. Может быть, оттого это, что любая девушка на моем месте…

– Значит, надо ответить человеку…

– А что отвечать? Он ждет *определенного* ответа, такого, которого я дать ему не могу. Нужны ли в этом случае письма? Гена Козырев – сильный человек, он политработник, храбрый офицер. Нужны ли ему подачки, вроде моих писем? Не дружба ему моя нужна, а любовь. Так зачем же какие-то письма?

– Но ты-то читаешь его письма по нескольку раз. Это как понять?

– А что тут понимать? Наверное, это свойство каждой женщины – перечитывать письма… А я осталась совсем одна в этом тыловом госпитале. Лежу, привязанная к постели. Лены нет. Не с Ираидой же Александровной, которая загружена по самую макушку работой, пускаться в откровенность, выворачивать душу. Катенька? Катенька

Саранских еще подросток, чтобы говорить с ней о том, в чем я, повидавшая многое, и сама не в состоянии разобраться. Вот почему и ухватилась я за письма Козырева…

Я теперь много думаю о нем. Снова с пристрастием допрашиваю себя: как быть?

Одно время мне казалось, что я могу полюбить Геннадия. Думала, что все – дело времени. Я не могла так быстро забыть Колю. Мне вообще в ту пору казалось, что никогда уже больше и не посмотрю ни на кого. И теперь, думается мне, что нехорошо я поступаю, размышляя о будущем, о любви. Порой кажется, что это предательство по отношению к Коле. Но… но Коли уже нет. Значит…

Значит… Значит… Не рассуждала бы ты так, Лиляна, если бы встретила человека, которого полюбила. Не любишь ты Козырева, потому и разводишь на бобах.

Странно было бы, чтоб никогда больше не полюбила я никого. Только разбрасываться не могу, вот в чем дело. Любовь для меня нечто такое, о чем и говорить-то вслух не следует. Святыня это… Хорошо, что мысли мои никто не узнает…

Все эти долгие месяцы в госпитале я мучительно пыталась ответить на те вопросы, которые ставит в своих письмах Гена Козырев. И всякий раз я прихожу к одному и тому же выводу: НЕТ! Не могу я идти на полумеры, на сделку с совестью. Пусть никогда я не встречу человека, с которым пройду всю жизнь. Пусть останусь одна. Я хочу любить по-настоящему, а не оказывать милость. Жить вместе, видеть каждый раз, как страдает человек, который идет с тобой рука об руку, и быть не в состоянии помочь ему, потому что не можешь ответить таким же сильным чувством, как его, – да это же предательство по отношению к этому человеку.

Я говорю обо всем этом с собой и в то же время слышу голосок медсанбатовской Клавы, влюбленной в генерала:

– Гляди, девка, пробросаешься, прорассуждаешь. Мужиков-то после войны – раз-два и обчелся. Какого же, прости господи, рожна

тебе еще надо?

Эх, Клавдийка, была бы ты жива, поспорила бы я с тобой. Знаю и об этом, и об этом думала тоже. Но… нет, не могу! И отвечать Козыреву я не стану. Зачем? Допустим, скоро меня выпишут из госпиталя. Искалеченная, хромая, жалкая. Вот и отвечу я ему. А он, благородный человек, не откажется от меня. Сгоряча, может быть. Пусть даже и не сгоряча. А потом что? Любовь его ко мне сменится жалостью. Потом наши отношения начнут тяготить его. Он будет считать, что снизошел до меня, и станет требовать того, что я ни при каких условиях не смогу ему дать. Все равно, что бы там ни случилось, ничего кроме простого уважения Гена Козырев во мне не вызовет.

Не понимаю только одного, почему Лена, такая чуткая и понимающая, послала именно ему мой адрес?

А кому же еще? Больше ни о ком я ей не рассказывала, да и себе даже думать запретила…

* * *

Солнце позолотило верхушку молоденького кудрявого тополя, что стоит у самого окна моей палаты. Я открываю глаза и победно поглядываю на моего бессловесного друга.

Ты увидишь сегодня, тополь, как встану я и пойду. Понимаешь: пойду! За пять месяцев первый раз. Даже страшно как-то…

– Хватит разлеживаться, – говорит сестра Римма, резко открывая дверь и грохоча костылями, которые она принесла для меня.

– Что ж, начнем осваивать технику, – отзываюсь я старательно бодрым голосом, а у самой – холодок под ложечкой.

Мне отлично известно, что ни один раненый после такого длительного пребывания в постели не вставал еще сразу на ноги. Каждый такой раненый заново учился ходить. Сначала костыли. Костыли… Нехитрое приспособление, а как к ним подступиться? Пристроить подмышки и шагать. Да, теоретически это совсем просто, а на деле…

Римма, по-видимому, опытная сестра, если Ираида Александровна поручила ей такое дело.

– У меня легкая рука, – говорит Римма, угадывая мои мысли.

Я поднимаюсь, сажусь на кровати и свешиваю ноги. Раненая нога моя еще туго забинтована, ею можно только слегка касаться пола. Об этом долго толковала мне моя докторша. Римма протягивает мне костыль и испытующе смотрит в глаза. Оказывается, эта шумная сестрица с сильным характером. Неужели я окажусь слабее?

– Сначала приподнимись, обопрись руками, – советует она.

Римма садится на никем не занятую, бывшую кровать Лены и показывает, как надо мне вставать. Ловко так у нее получается – и костыль в руке и осторожное сползание с кровати, небольшой рывок, – и Римма с костылем подмышкой стоит передо мной.

– Понятно?

– Да.

Я делаю все так, как показала Римма. Прилаживаю костыль, но он ходит у меня, словно и не в пол опирается, а в палубу корабля при сильной качке. Наверное, у меня такие беспомощные руки, такая растерянность во всей фигуре, что Римма, крепко обняв меня одной рукой, а другой держась за спинку кровати, помогает встать. Ловко все у нее получается. Рывок – и я встала на ногу, опираясь на костыль. Римма тут же протянула мне второй. Теперь, широко разведя руки, стояла она передо мной, точно клушка над жалким цыпленком.

Кажется, я и плачу, и смеюсь:

– Пустите, Риммочка, пойду…

– Нет. На сегодня хватит. Денька через два можно и шагнуть разок.

– Так долго!

– А как же? Все не так просто, – философствует Римма, снова укладывая меня.

…Перед сном я поглядываю на темнеющий силуэт тополя и мысленно говорю ему:

– Выздоравливаю! Понимаешь, дружище?

И тополь за окном в ответ тихо покачивает ветками.

Через несколько дней я уже без Римминой опеки ковыляю по коридору. Знала бы об этом Лена… Я уже подумываю о том, что следует выбираться на более серьезный «оперативный простор», чем длинный коридор нашего госпиталя. Терпение. Завтра с утра начну осваивать сложный маршрут. Ничего, Лиляна, держись! Дела-то налаживаются. Скоро… Не падать, об этом уговору не было. Поднимайся, пока не увидели. А то довольно смешно выглядит со стороны, как ты несмело снова принимаешь вертикальное положение и как пугливо разбегаются в сторону твои непослушные костыли. Ну вот, теперь хорошо. Туп-туп-туп… Ничего. Уже быстрее пошла. Уже получается. Совсем хорошо. Скоро будет по-настоящему. Туп-туп… Буду самостоятельно спускаться на первый этаж – там столовая для выздоравливающих. Ну, а теперь – в палату, скоро подъем, начнут ходить по коридору люди. Не смеши-ка ты их, скороход Орлович.

Ничего, все равно ты, Лиляна, на пути к своим, в свою дивизию. Неужели не направят туда? Говорят, что из госпиталя редкий человек снова попадает в свою часть. Ну что ж, тогда я рискну обратиться к командиру дивизии. Я должна быть там. Пусть даже машинисткой…

…Медленно тянется время. Уходит летний день. Крадутся сумерки. Шумит за распахнутым окном незнакомый мне Челябинск.

– Лиляна! Лиляна! Вам письмо! – кричит Катюша Саранских еще за дверью.

– Откуда, Катенька, письмо? Да проходи скорее. Давно тебя что-то не видно.

Катя переставляет мои костыли, пододвигает табуретку поближе к кровати.

– Скоро я буду вас заставлять танцевать, когда письмо принесу, – говорит она, передавая мне толстый конверт, заклеенный хлебным мякишем. Нестандартный этот конверт сооружен из разлинованной глянцевитой канцелярской бумаги. По-видимому, из какого-то

немецкого гроссбуха. Письмо из Белоруссии. От наших. От мамы? Но кто-то чужой подписал ей адрес.

Сколько же писем послала я в Белоруссию, и наконец-то получила ответ. Я беспощадно кромсаю этот на совесть заклеенный конверт со штампом «просмотрено военной цензурой» и выхватываю письмо. Оно на четырех страницах, и не мама писала его. А кто же? А-а, это Петрусь. Молодец, что не забыл.

– *Добрый день или вечер, сестренка Лиляна,* – бормочу я. – *Как твое здоровье? Будет ли цела нога?*

Будет-будет, Петрусь. Не беспокойся. Уже ходить начинаю. Теперь побыстрее стану выздоравливать.

– *Сообщаю тебе наши деревенские новости,* – продолжаю читать я. – *Мы воевали с немцами. Были в партизанском отряде всю войну. Меня тоже поранили, потому и не взяли в Советскую армию, как пришли наши. Теперь работаю потихоньку в колхозе. Молодежи в Борках мало осталось. Кто в Советскую армию ушел и теперь воюет на фронте, а кого поубивали фашистские изверги.*

Война, Петрусь. Многих убивают на фронте. Вон и Коля погиб. Ты не упоминаешь о нем, не хочешь лишний раз огорчать меня. Скольких же не досчитаемся мы после войны…

– *А Васька-Тетеря,* – пишет дальше Петрусь, – *при немцах заделался полицаем, а когда пришли наши, утек с немцами.*

Васька… Тот самый, который сыпал круглыми фразами о коммунизме, который глаголил, что коммунизм надо строить на костях человеческих. О чем теперь тарабанит он, немецкий холуй?

– *А ещё,* – читаю я, – *должен сообщить тебе, сестренка, печальную весть: 27 июня 1943 года, то есть прошлым летом, умерла твоя мама у себя в хате, утром…*

Я опустила на одеяло руку с зажатым в ней петрусевым письмом. Потом дочитаю остальное. Не заметила я, когда Катюша ушла. Никого.

…И отчего на этом Урале такие душные ночи? Почему это,

когда даже настежь открыты окна, не хватает воздуха?…

* * *

После известия о смерти мамы я слегла. Ни о чем даже думать не хотелось. Пусто. Я не видела ничего и никого. Впрочем, кажется, ходили люди, спрашивали о чем-то, хлопотали. Иногда появлялась Катюша. Сидела молча и потом тихонько выскальзывала из палаты. Я не хотела никого слышать и видеть. Я думала только о своей маме.

Почему это так получается – жива она, и мы беззаботно полагаем, что так будет всегда? Иногда и не думаем о ней, о маме. Есть она, а как же иначе? Разве думают о том, что есть вокруг нас воздух? Мы живем, дышим…

Я вспоминала о маме тогда, когда прижимала жизнь. В иной час на фронте, бывало, защемит сердце: как там мама? И все. А теперь ее нет больше, мамы. Этому трудно поверить. Но верить приходится. Успела же я поверить в смерть Коли Савчука. Но мама – это совсем, совсем другое.

Мама... Никогда не перестанешь думать о ней. Мама… Мама! Мама!! Мамочка… Никогда не возьму я больше ее жестковатую натруженную руку, не сожму ее в своих ладонях. Никогда неповторимым, только ей свойственным голосом, не расскажет она, какой уродился лен. Никогда больше не пойдет она по родному белорусскому полю, не увидит леса на горизонте, не увидит солнца. Все.

Никогда не пожалеет она меня, не посоветует. Все эти дни говорю я с ней. Рассказываю обо всем, что было со мной. Вспоминаю Яшу, которым она так гордилась. Говорю ей, что был бы он теперь, наверное, генерал-лейтенантом. Я рассказываю маме, что случилось с Валентиной и Стасиком, и о Коле – тоже рассказываю. Только о своем ранении не говорю. Об этом не надо. Я уже скоро поправлюсь.

…Пустует теперь, видно, избушка наша. Нет, не должна бы пустовать. Там должны жить добрые сердечные люди. Пока я лежу здесь, в Челябинском госпитале, пусть сходят они на мамину

могилку…

Мама, мамочка… А там, у речки, что пробегает мимо кладбища, шуршит аир. Помнишь, как бывало, приносила большую охапку длинных гибких темно-зеленых стеблей-листьев этого растения, и тогда пахло в избенке нашей рекой и свежестью. Ты устилала теми листьями-лентами пол и ждала какого-то твоего старинного праздника…

А помнишь, мамочка, как вынимала ты хлеб из печи? Душисто и вкусно пахло тогда печеным мякишем, пышные светло-коричневые хлебины возвышались на столе, покрытые чистим домотканым полотенцем. Ты давала мне отведать теплого хлеба, счищая перед тем с нижней корочки остатки кленовых листиков, которые обычно подкладывала под буханку, перед тем как посадить ее в печь.

Ты всегда любила цветы, и потому наш маленький палисадник с самой весны пестрел яркими глазками цветов. И рябинка росла у самого окна. Это ты ее посадила сама, когда отец был болен и попросил тебя об этом. Цела ли та рябинка? Кто смотрит на нее после тебя?

…Когда я второй раз снова начала учиться ходить на костылях, решила ответить тогда Козыреву на его письма. Очень уж одиноко было мне. Написала, что выздоравливаю, что хожу пока на костылях. И адрес свой сообщила.

* * *

Меня задержали в госпитале до самой осени. Думала, что в августе выпишут, но не получилось. Подошел сентябрь. Люди начали учиться, люди воюют или работают, а я по-прежнему пополняю число «находящихся на излечении», пополняю число жителей Южного Урала. Связь с внешним миром поддерживаю путем переписки. Пишет Лена. Она поступила на философский факультет. Знаю, что трудно ей, но верю – выдержит. Геннадий еще пишет. Только письма его странные – то ласковые, то строго официальные, а

то и вовсе вроде этого:

«6 сентября 1944 год. Румыния.

…Я не могу успокоиться. Ты, чему очень рад – выздоравливаешь. Пишешь, что от костылей перешла к палочке. Скоро и она не нужна будет. Я этому очень рад, конечно. Но… у вас же там не одни женщины на излечении. Сколько месяцев ты там, а вокруг выздоравливающие мужчины. Мужчины! Они же не святые. Это мне очень даже хорошо известно. И винить их нельзя – они вырвались из лап самой смерти. Они же не камни, те мужчины. Не могу представить себе, что возле тебя, как всегда, не вьются… Воображаю, что там делается. Природа наделила тебя редкой внешностью, такими глазами, что стоит тебе появиться где бы то ни было – начинается шут-те что… Догадываюсь я и о том, что достала ты своими чарами и до такого человека, как наш командир (я говорю о «хозяине» всего нашего подразделения). И любопытно, что ходила ты тогда словно царевна-несмеяна, будто все это тебя и не касается. Неужели не понимаешь ты, по чьей инициативе взяли тебя машинисткой? Ты предполагала, что это я в том виноват. Нет, такое «благодеяние» мне не под силу…

Лиляна, Лиляночка… Чего это я только тебе нагородил. Видно, не пошлю это письмо…

Посылаю. Не пишешь ты мне. Так вот знай… Пусть идет это мое письмо, пусть…»

«8 октября 1944 г. Югославия.

Лилянка…

Прости меня за дикую ревность. Мне так стыдно за то письмо. Я, по-видимому, не отсылал бы его, если бы… Нет, не скажу почему. Не скажу!

Сегодня особенно паршиво на душе, гадко. Я не привык распускаться. Ты знаешь об этом. А, может быть, и не знаешь. Я только с тобой размазня какая-то… Но дело сейчас не в том. Вчера

убило майора Васильченко. Несколько месяцев тому назад повысили его в звании. Но вчера… прямым попаданием.

А горы здесь высоченные, Лилянка…»

Ну что ж, Геннадий Козырев. Все стало на свои места. Письмо из Югославии помогло мне ответить на тот вопрос, который я несколько начинала, было, усложнять.

Я же не писала тебе, Гена Козырев, что пять месяцев лежала прикованная к постели с грузиками и подвесками, с вытяжкой ноги. Мне два раза «сращивали» кость. Ломали – и снова в гипс. Было даже опасение, что придется резать. А вы о чем, капитан Козырей? Вы же комсомольский работник, должны тоньше чувствовать, чем другие… И еще не писала я тебе, Геннадий, обо всем, что пришлось мне передумать за эти бесконечно долгие дни в госпитале. Сообщила я тебе о смерти мамы, а ты… Все об одном. Значит, никогда не сможем мы понять друг друга. Потому и не пошлю я тебе своего московского адреса.

Сегодня написала я одно стихотворение. Это немножко и о нас с тобой и о ком-то третьем…

Спешит река куда-то в край иной,
И волны плещутся, искрясь, переливаясь.
Сморил березку летний сильный зной –
Поникла, стройная, над волнами склоняясь.

Запутался веселый ветерок
В ветвях ее, тихонько их колышет
И шепчет все о прелести дорог –
Березка слушает, кивает, но не слышит.

Ведь не ему дано березку всколыхнуть,
И не к нему протянет ветви-руки,
Не с ним готова будет в дальний путь –

Делить и радость встреч, и боль разлуки.

Другого ждет и верит – прилетит
Тот, самый сильный, ветки растревожит.
Ну, а пока березка эта спит,
И разбудить ее никто не может…

Уезжаю в Москву. На фронт меня не пустили. Буду учиться. Складываю свои пожитки – письма, тетрадку стихов и роман Островского «Как закалялась сталь». Маленький сверточек – вот и весь мой багаж. Мне принесли солдатскую гимнастерку и хлопчатобумажную юбку. Выдали кирзовые сапоги и серую, совершенно новую шинель. Я прощаюсь с Южным Уралом. Спасибо ему, спасибо людям, которые работают и живут здесь. Здесь вернули меня к жизни…

* * *

Я распахнула балконную дверь. В комнату ворвалась шумная весенняя Москва. Подуло сквознячком, и завертелся сорванный вчера вечером листок календаря – 7 мая 1945 года. Сегодня я немножко раньше вернулась из университета, решила сделать кое-какие домашние дела, а вечером снова позаниматься. Истосковалась я по книгам. Укоряю себя за то, что в госпитале стишки писала да беллетристику почитывала. Столько упущено!

Вот подошью платье, перестанет болеть голова и – тогда снова за книги. А платье приготовить надо. Во вторник иду в консерваторию, на симфонический концерт. Беда с этими новыми фасонами. Теперь подкладывают ватные подплечики даже те, у кого от природы не покатые, а прямые плечи. Сколько же мне пришлось ломать голову над тем, чтобы платья мои «звучали по-современному». Получилось, говорят. Спасибо тебе, Валюша, это ты научила меня портняжить…

Скриплю иголкой и думаю о том, что человек, по существу,

удивительно устроен: в самом деле, разве могла я год тому назад и предполагать, что буду всерьез думать о новых фасонах платьев и о модах? В прошлом году в эту пору лежала я в челябинском госпитале, привязанная к кровати, и думала только об одном, чтобы не оттяпали мне ногу ретивые хирурги. Но вот беда прошла, и меня занимает уже обыкновенная житейская мысль: хочу быть прилично одетой. Хочу быть красивой. Это плохо? Обывательница сидит во мне? Нет, пожалуй. Ведь и воюем мы за то, чтобы люди хорошо жили, чтобы были они счастливы. А я? Счастлива?

Как сказать… Обижаться на судьбу, положим, не следует. Я не погибла, удачно выпуталась из неприятной истории с ногой, могла бы остаться на всю жизнь с костылями. Вернулась в университет. Учусь. Разве все это не счастье? Счастье, но…

Хватит тебе, Лиляна. Иди-ка лучше посиди во дворе, а то и впрямь не сможешь вечером заниматься, голова-то не перестает болеть.

Медленно одеваюсь, стою в прихожей, рассматриваю себя в зеркале. Постарела, Лиляна Ивановна. Скоро двадцать пять стукнет.

Я медленно спускаюсь во двор и сажусь на скамейку, лицом к молоденькой яблоньке, которую посадил еще во время войны наш управдом, отец моей погибшей подружки – рыжей Наташки. Это в память о ней.

Нет, не могу я читать. Не лезут мне в голову всякие факты из истории. Я думаю о том, что сейчас делается в Берлине. 2-го мая взяли рейхстаг. Дошли до Берлина! Я смотрю на молодое деревце и думаю о тех, кто делает историю, и о том, как по нашей израненной земле шагает Победа.

– Смотрите-ка, цвести собирается, – удивленно говорит Наташин отец, присаживаясь рядом со мной.

И впрямь, на молоденькой яблоньке уже наметилось несколько бутонов. Листьев почти незаметно, а цветы… Зацветут еще сады, зацветут…

– Говорят, война будто кончилась. Не слыхали? – спрашивает

Наташин отец. – Я прихворнул немного, а то бы съездил на завод Ильича, в партком. Там знают.

Как же постарел за годы войны этот человек. Согнулся, ходит, шаркая ногами. А сейчас сидит сгорбившись, опираясь натруженными руками в колени. Помнится, Наташа рассказывала, что отец ее в молодости работал па заводе Михельсона, потом ушел на фронт, воевал с белыми, был ранен в Гражданскую. Вышел на пенсию, но дома сидеть не захотел. Подобрали ему дело – назначили управляющим домами. Но с партийного учета с завода Ильича не снялся наш управдом. Написать бы об этом человеке. Эх, Лиляна, горе-историк. Живая история сидит рядом с тобой на скамейке и смотрит история эта на хрупкую молоденькую яблоньку.

– Нет, не слыхала я, что война окончилась. Не верю я разным шепотам. Хочу, чтобы громко. На весь мир чтобы!

– А ты такая же, как и прежде – шустрая, – улыбнулся управдом. – Всем хочется, чтоб сказали поскорее. Девчонки из Центрального Телеграфа болтают, что вроде бы закончилась.

– Вся Москва по секрету говорит…

Шумят во дворе мальчишки. Они играют в войну. Кричат «ура-а-а!», ходят в атаку с палками наперевес. Выползают из-за клумб «разведчики», ползут не как-нибудь, а по-пластунски (правда, ответ за испачканные штаны надо будет держать; но это позже, вечером). Почти у каждого «вояки» на голове настоящая пилотка. Словом, война «всамделишная».

– Палки-то, палки уберите! – волнуется управдом. – Ненароком брюхо располосует который. Вози тогда к Склифосовскому, – ворчит он, направляясь к «сражающимся армиям», чтобы внести некоторые коррективы в вопросы технической оснащенности…

– Ура-а-а! – надрываются мальчишки, устремляясь к высокой решетке наших ворот.

Но почему они вдруг замолчали? Понятно. К нашим воротом подъехала какая-то машина. Скрипнули тормоза. А мальчишки народ любопытный: кто приехал? Они окружили военного, который

направлялся в наш двор. Ну, конечно, фронтовик. Это видно по тому, как мальчишки почтительно заглядывают ему в глаза. Он спрашивает их о чем-то, и они, слышу, наперебой рассказывают о только что проведенном сражении.

– Не по правилам воюете, – смеется военный.

– А как надо правильно, – слышится звонкий мальчишечий голос. – Вы в наш дом, товарищ генерал-лейтенант?

Что это со мной? Почему это подошвы моих туфель вдруг приросли к асфальту? Борисов. Разве можно спутать голос Владимира Викторовича с чьим-то другим? Но почему он здесь?

Мальчишки окружили его плотным кольцом и снова о чем-то расспрашивают.

– А правда, что война уже окончилась? – стараясь перекричать других, спрашивает мальчишка.

– Не знаю, не знаю – это военная тайна, – смеется Борисов.

Он медленно идет по двору, окруженный плотным кольцом наших сорванцов, и внимательно разглядывает наш двор. Он о чем-то спрашивает мальчишек, и те указывают на меня.

– Лилянка!

…Никакой же это не сон. Я вижу, как идет Владимир Викторович по асфальтированной дорожке нашего двора, мимо яблоньки, которая собирается расцвести…

Челябинск 1961-1965 гг.

Оглавление

Вместо предисловия 2
Глава 1 Почему меня зовут Лиляной? 3
Глава 2 Босоногое детство. 11
Глава 3 Коммунизм… Это – для человека. Для тебя, для меня, для всех! 23
Глава 4 Я открываю Москву. 31
Глава 5 Не всегда и поговорки правильны… 58
Глава 6 И напали на землю русскую полчища врагов. 77
Глава 7 Хороших людей больше, чем плохих. 110
Глава 8 Не сразу я стала бойцом. 132
Глава 9 В действующей армии. 154
Глава 10 …Встретить, чтобы потерять… 178
Глава 11 Горе горем, а жить все равно надо… 191
Глава 12 Наша победа на Волге. 214
Глава 13 Любовь бывает разная… 222
Глава 14 … И без любви нельзя… 244
Глава 15 Как совершаются подвиги. 266
Глава 16 Осот в палисаднике. 278
Глава 17 Главная магистраль. 286
Глава 18 Дойдем до Берлина! 300
Глава 19 Кто дойдет, а кто… 315
Глава 20 Зацветут еще сады, зацветут! 350